

ПРЕМИЯ “БУКЕР” —
ЛУЧШЕМУ РОМАНУ ЗА СОРОК ЛЕТ

САЛМАН

❖ РУШДИ ❖
ДЕТИ
ПОЛУНОЧИ

CoRpus



Салман Рушди
Дети полуночи

«Издательство АСТ»

1981

УДК 821.111(410)-31
ББК 84(4Вел)-44

Рушди С.

Дети полуночи / С. Рушди — «Издательство АСТ», 1981

ISBN 978-5-17-155702-7

Роман “Дети полуночи” трижды получал премию “Букер”: в 1981 году как лучший роман, в 1993 и 2008 годах — к 25-й и 40-й годовщине премии как лучшее произведение из всех, ее получивших. Это роман-аллегория, рассказ об обретшей независимость Индии и о поколении, которое родилось уже в свободной стране. Это и миф, и притча, и фантазмагория, где переплетены трагическое и комическое, сатира и пафос, авантюра и драма, многоплановое повествование, рассказывающее о жизни главного героя, Салема Синая, и об истории Индии и отчасти Пакистана с 1910 по 1976 год.

УДК 821.111(410)-31

ББК 84(4Вел)-44

ISBN 978-5-17-155702-7

© Рушди С., 1981

© Издательство АСТ, 1981

Содержание

Книга первая	6
Прорезь в простыне	6
Меркурохром	18
“Плюнь-попади”	28
Под ковром	39
Публичное оглашение	49
Многоголовые чудища	60
Месволд	70
“Тик-так”	82
Книга вторая	92
Указующий перст рыбака	92
Конец ознакомительного фрагмента.	94

Салман Рушди

Дети полуночи

Охраняется законом РФ об авторском праве. Воспроизведение всей книги или любой ее части воспрещается без письменного разрешения издателя. Любые попытки нарушения закона будут преследоваться в судебном порядке.

© Salman Rushdie, 1980

All Rights Reserved

© А. Миролюбова, перевод на русский язык, 2006

© А. Бондаренко, оформление, 2023

© ООО «Издательство АСТ», 2023

Издательство CORPUS ®

Книга первая

Прорезь в простыне

Я появился на свет в городе Бомбее... во время оно. Нет, так не годится, даты не избежать: я появился на свет в родильном доме доктора Нарликара 15 августа 1947 года. А в каком часу? Это тоже важно. Так вот: ночью. Нет, нужно еще кое-что добавить... Если начистоту, то в самую полночь, с последним ударом часов. Стрелки сошлись, словно ладони, почтительно приветствуя меня. Ах, пора, наконец, сказать прямо: именно в тот момент, когда Индия обрела независимость, я кувырнулся в этот мир¹. Все затаили дыхание. За окнами – фейерверки, толпы. Через несколько мгновений мой отец сломал большой палец на ноге, но это сущие пустяки по сравнению с тем, что свалилось на меня в сей злополучный полуночный миг, – берущие под козырек часы, их скрытая тирания, наручниками приковали меня к истории, и моя судьба неразрывно сплелась с судьбой моей страны. И в последующие три десятка лет не было мне избавления. Колдуны предрекли меня, газеты восславили мое появление на свет, политики удостоверили мою подлинность. Меня тогда никто не спрашивал. Я, Салем Синай, позже прозываемый то Сопливцем, то Рябым, то Плешивым, то Сопелкой, то Буддой, а то и Месяцем Ясным, прочно запутался в нитях судьбы – что и в лучшие из времен довольно опасно. А я ведь даже нос не мог подтереть в то время.

Зато теперь время (ничего не значащее для меня) стремится к своему концу. Мне скоро исполнится тридцать один. Может быть. Если позволит моя осыпающаяся, изнуренная плоть. Но я не надеюсь спасти свою жизнь, я даже не могу рассчитывать на тысячу и одну ночь. Я обязан работать быстро, быстрее, чем Шахерзада, если хочу найти хоть какой-нибудь смысл, да, смысл. Должен признаться: больше всего на свете я боюсь бессмыслицы.

А нужно рассказать так много, слишком много историй, уйму жизней, событий, чудес, мест, слухов, такую густую смесь невероятного и приземленного! Я был поглотителем жизней; узнав меня хотя бы в одной из моих ипостасей, вы тоже поглотите их немало. Пожранные толпы теснятся, толкаются во мне; и, ведомый памятью о широкой белой простыне с прорезанной в центре неровной круглой дырой дюймов семи в диаметре, прилепившись мечтою к этому пробуравленному, искромсанному полотнищу, моему талисману, моему сезам-откройся, я начну, пожалуй, заново выстраивать свою жизнь с той точки, когда она началась на самом деле, года за тридцать два до начала, с такой же очевидностью, с такой же *данностью*, как и мое преследуемое боем курантов, запачканное злодеянием рождение.

(Простыня, кстати, тоже испачкана, там три старых выцветших красных пятна. Как нам вещает Коран: “Читай, во имя Господа твоего, который сотворил человека из сгустка”.)²

Однажды утром в Кашмире, ранней весной 1915 года, мой дед Адам Азиз, пытаюсь молиться, ударился носом о смерзшуюся кочку. Три капли крови выкатились из его левой ноздри, тут же загустели в морозном воздухе и легли на молитвенный коврик, обратившись в рубины. Он отпрянул, выпрямился, не вставая с колен, и обнаружил, что слезы, выступившие на глазах, тоже затвердели – и в тот самый миг, когда он презрительно стряхивал с ресниц бриллианты, дед решил никогда больше не целовать землю – ни во имя Бога, ни во имя

¹ 15 августа Индия отмечает национальный праздник – День независимости. В этот день премьер-министр Временного правительства Индии Джавахарлал Неру объявил народу, что британскому владычеству в Индии пришел конец. Свое заявление Неру сделал ровно в полночь 14 августа. 15 августа Дж. Неру поднял трехцветный флаг независимой Индии над Красным фортам в Дели.

² Коран, ХСVI (“Сгусток”), ст. 1–2.

человека. И это решение пробило в нем брешь, оставило пустоту в жизненно важных внутренних полостях, сделало уязвимым перед женщинами и историей. Еще не догадываясь об этом, несмотря на только что прослушанный курс медицины, он встал, свернул молитвенный коврик в толстую сигару и, придерживая его правой рукой, оглядел долину светлыми, избавленными от “бриллиантов” глазами.

Мир обновился в очередной раз. Долина, вызревшая в зимнее время под скорлупою льда, сбросила его оковы и лежала теперь перед ним влажная и желтая. Свежая травка еще выжидала под землей, но горы, почуяв тепло, отступали все дальше, все выше, к летним кочевьям. (Зимой, когда долина съезживалась подо льдом, горы смыкались и скалились, будто злобные челюсти, вокруг приозерного городка.)

В те дни еще не построили радиовышку, и храм Шанкарачарьи³, маленький черный пузырь на холме цвета хаки, возвышался над улицами Шринагара и над озером. В те дни на берегу еще не было военного лагеря – бесконечные змеи покрытых маскировочной тканью грузовиков и джипов не закупоривали узких горных дорог, и солдаты не прятались за горными хребтами у Барамуллы и Гульмарга. В те дни путешественников, фотографировавших мосты, не расстреливали как шпионов, и если бы не плавучие домики англичан на озере, долина имела бы почти тот же вид, что и при Могольских императорах⁴, несмотря на весеннее обновление, но глаза моего деда – им от роду было двадцать пять лет, как и всему остальному в Адаме, – все видели по-иному... к тому же свербел разбитый нос.

Секрет такого дедова зрения вот в чем: пять лет, пять весен провел он вдали от дома. (Судьбоносная кочка, притаившаяся под случайной складкой молитвенного коврика, явилась всего лишь катализатором.) По возвращении он смотрел на все повидавшими мир глазами. Не красоту крошечной долины, окруженной гигантскими зубьями, замечал он, а тесноту ее и близкий горизонт, и было ему грустно по возвращении домой оказаться в таком заточении. А еще он чувствовал, хотя не мог себе этого объяснить, как старый городишко выталкивает из себя его, образованного, со стетоскопом в кармане. Под зимним льдом городишко лежал холодный и безучастный, но теперь сомнения отпали: из Германии Адам вернулся во враждебную среду. Много лет спустя, когда он, заткнув свою брешь ненавистью, принес себя в жертву на алтарь черного каменного бога в храме на склоне холма, дед попытался вспомнить свои детские весны в раю, какими они были, пока дальняя дорога, кочка и тяжелые танки не испортили все на свете.

Утром, когда долина, прикрывшись, как перчаткой, молитвенным ковриком, расквасила ему нос, дед все еще самым нелепым образом пытался представить дело так, будто ничего не изменилось. Итак, он встал в половине четвертого, в жестокий утренний заморозок, совершил положенное омовение, оделся и нахлобучил на голову отцовскую каракулевую шапку, затем захватил молитвенный коврик в виде свернутой сигары, отнес его в крошечный прибрежный садик перед темным старым домом и развернул над затаившейся кочкой. Земля коварно прогибалась под ногами, казалась обманчиво мягкой, и он ступал беспечно, хотя и с опаской. “Во имя Бога, милостивого, милосердного... – зачин, который он произнес, сложив руки книжечкой, укрепил какую-то его часть, а другую, гораздо большую, смутил, – ...слава Аллаху, Господу миров...” – но Гейдельберг никак не шел из головы: там была Ингрид, пусть и недолго, но *его* Ингрид, и она усмехалась, видя, как он обезьянничает, повернувшись лицом к Мекке; там были его друзья Оскар и Ильзе, анархисты; они высмеивали молитву, как и любую форму идеологии – “...Милостивому, Милосердному, Царю в день Суда!” – Гейдельберг, где, кроме медицины и политики, он узнал еще и то, что Индия, как радий, была “открыта” европейцами;

³ Шанкарачарья (Ачарья Шанкара) (788–812) – один из основоположников философского учения адвайта-веданты. Последователи Шанкарачарьи отождествляют его с Шивой (Шанкарой) и сооружают в его честь храмы и святилища. Один из таких храмов находится на возвышающемся над Шринагаром холме.

⁴ Могольские императоры – правители Индии из династии Великих Моголов.

даже Оскара переполняло восхищение Васко да Гамой⁵. Вот что в конце концов оттолкнуло Адама Азиза от его друзей: их святая вера в то, что его, индийца, каким-то образом изобрели их предки. “...Тебе одному мы поклоняемся и просим помочь...” – и вот он здесь и, несмотря на их постоянное присутствие в мыслях, старается воссоединиться с собою прежним, тем, кто ведать не ведал их влияния, зато знал все, что потребно знать о смирении, скажем, о том, чем он был занят сейчас, и руки его, подчиняясь былой памяти, протянулись вперед – большие пальцы прижаты к ушам, прочие растопырены – когда он преклонял колена: “...Веди нас по дороге прямой, по дороге тех, которых Ты облагодетельствовал...” Но все без толку, попал он в какое-то странное средостение между верой и неверием – и ведь все это не более чем претензия – “...не тех, которые находятся под гневом, и не заблудших”. Мой дед склонил чело к земле. Вперед он склонился, а земля, укрывшись под молитвенным ковриком, выгнулась ему навстречу. И вот настал звездный час затаившейся кочки. Кочка стукнула его по кончику носа, и этот удар как бы подвел итог – его отвергли и Ильзе-Оскар-Ингрид-Гейдельберг, и долина-и-Бог. Упали три капли. Сверкнули рубины и бриллианты. И мой дед, выпрямившись, принял решение. Встал. Свернул коврик в сигару. Глянул через озеро. И навсегда остался замкнутым в этом средостении – неспособный поклоняться Богу и не утративший окончательно веры в его существование. Непрерывные шатания: брешь.

Молодой, только что окончивший курс доктор Адам Азиз стоял, повернувшись лицом к весеннему озеру и вдыхая ветер перемен, а спина его (необычайно прямая) обращена была к переменам куда более многочисленным. Пока он был за границей, отца хватил удар, а мать это скрыла. Голос матери, ее отрешенный, стоический шепот: “...Потому что твоя учеба важнее, сынок”. Мать, которая всю жизнь провела в четырех стенах, на женской половине, вдруг нашла в себе необъятные силы и завела небольшую ювелирную лавку (бирюза, рубины, бриллианты), это вместе со стипендией и позволило Адаму закончить медицинский колледж. И вот он вернулся домой и обнаружил, что прежде казавшийся неизменным семейный порядок перевернулся с ног на голову: мать ходит на работу, а отец, чей мозг скрыт покрывалом болезни, сидит в деревянном кресле в затененной комнате и щебечет по-птичьи. Пташки тридцати видов прилетали к нему и рассаживались на наличник наглухо закрытого окна, болтая о том о сем. Он казался вполне счастливым.

(...И вот уже я вижу, как начинаются повторы: и бабка моя нашла в себе необъятные... и удар тоже разбил не только... и у Медной Мартышки были свои птички... уже сбывается проклятие, а ведь мы еще не заикнулись о носсах!)

Озеро уже очистилось ото льда. Таяние началось, как всегда, внезапно, застав врасплох множество мелких лодчонок и больших шикар⁶, что тоже было нормально. Но пока эти лежебоки спали на суше, мирно похрапывая подле своих владельцев, самая дряхлая лодка пробудилась в два счета, как это часто бывает со стариками, и первой стала курсировать по очистившейся глади озера. Шикара Таи... и это тоже вошло в обычай.

Взгляните, как старый лодочник Таи споро скользит по мутной воде, как он стоит, согнувшись, на корме своего суденышка! Как его весло, деревянное сердечко на желтом стержне, резко погружается в водоросли! В тех краях его считают чудачком, потому что он гребет стоя... И по другим причинам тоже. Таи, спеша передать доктору Азизу срочный вызов, вот-вот приведет в движение всю историю... Адам же, глядя на воду, вспоминает, как Таи учил его много лет назад: “Лед, Адам-баба⁷, всегда дожидается под самой кожицей воды”. Глаза у Адама светло-голубые, удивительная голубизна горного неба просачивается обычно в зрачки кашмирцев –

⁵ Васко да Гама (1469–1524) – знаменитый португальский мореплаватель. В 1497–1499 гг. совершил плавание из Лиссабона в Индию, обогнув Африку, и обратно, впервые проложив морской путь из Европы в Южную Азию.

⁶ Шикара – “индийская гондола”, вместительная лодка, предназначенная для перевозки как людей, так и грузов..

⁷ Баба – батюшка (ласковое обращение к ребенку).

и те умеют смотреть. Они видят – здесь, перед собою, будто призрачный скелет прямо под поверхностью озера Дал! – тонкие штрихи, сложное переплетение прозрачных линий, холодные, ждущие своего часа вены будущего. Годы в Германии, столь многое окутавшие туманом, не лишили Адама этого дара – видеть. Дара Таи. Азиз поднимает глаза, видит, как приближается лодка Таи, буквой “V” рассекая волны, приветственно машет рукой. Таи тоже поднимает руку – но повелевающим жестом: “Жди!” Мой дед ждет, и пока он вкушает последний в своей жизни покой – топкий, непрочный покой, – я воспользуюсь этим зиянием и опишу его.

Заглушив естественную зависть урода к мужчине видному и статному, свидетельствую, что доктор Азиз был высоким. Выпрямившись у стены родного дома, он закрывал двадцать пять кирпичей (по кирпичу на каждый год жизни), а значит, был ростом примерно в шесть футов и два дюйма. Кроме того, он отличался силой. Он отрастил густую рыжую бороду, к досаде матери, которая говорила, что только хаджи, совершившие паломничество в Мекку, имеют право носить рыжую бороду. Волосы, однако, были темнее. О небесно-голубых глазах вы уже знаете. Ингрид твердила: “Тот, кто создал твое лицо, был помешан на ярких красках”. Но главной чертой дедовой внешности был вовсе не цвет волос и глаз, не рост, не сила рук и не прямая осанка. Вот он, отраженный в воде, колышущийся чудовищным листом подорожника посередине лица... Адам Азиз, дожидаясь Таи, взирает на свой подернутый рябью нос. На лице менее выразительном такой нос царил бы один, даже тут вы замечаете его первым и помните дольше всего. “Сира-нос”⁸, – изрекла Ильзе Любин, а Оскар: “Слоновий хобот”. Ингрид заявила: “По такому носу можно через реку перебраться”. (Переносица была весьма широкая.)

Вот он, нос моего деда: ноздри раздуваются, изгибаются, будто в танце. Между ними возносится триумфальная арка, сперва выдвигается вперед, затем резко скругляется к верхней губе великолепным, чуть покрасневшим кончиком. Таким носом несложно стукнуться о кочку. Не премину засвидетельствовать мою благодарность этому могучему органу, если б не он, кто бы поверил, что я – родной сын моей матери, внук моего деда? Только благодаря этому колоссальному органу мог я претендовать на право первородства. Нос доктора Азиза, сравнимый лишь с хоботом слонноголова бога Ганеши⁹, неоспоримо свидетельствовал о том, что быть ему патриархом. Сам Таи ему об этом поведал. Едва Азиз достиг отрочества, как дряхлый лодочник заявил: “С таким носом впору основать династию, мой царевич. Порода будет сразу видать, без ошибки. Моголы дали бы себе правые руки отрезать за такие носы. Потомки теснятся в твоих ноздрях, – тут Таи выразился довольно-таки грубо, – как сопли”.

У Адама Азиза был нос патриарха. У моей матери – нос благородный, свидетельствовавший отчасти о долготерпении, у тетки Эмералд – носик заносчивый и чванный, у тетки Алии – интеллектуальный, у дяди Ханифа был нос непризнанного гения, дядя Мустафа держал его по ветру, но оставался всегда на вторых ролях, у Медной Мартышки семейного носа вообще не было, а у меня... я – опять же другое дело. Не годится сразу раскрывать все секреты.

(Таи подплывает все ближе. Он, возгласивший о могуществе носа, везущий деду весть, которая катапультирует его напрямиком в будущее, правит своей шикарой, скользит по озерной глади этим ранним утром...)

Никто не помнит тех дней, когда Таи был молодым. Он сновал все в той же лодчонке, все так же согнувшись на корме, по озерам Дал и Нагин... с начала времен. Во всяком случае так считали все вокруг. Жил он где-то в пропитанной грязью утробе старого квартала с деревянными лачугами, и его жена выращивала корни лотоса и другие изысканные растения на одном из многочисленных плавучих огородов, что колыхались на поверхности вод весной и летом.

⁸ “Сира-нос” – намек на знаменитый нос Сирано де Бержерака. Написанная в 1897 г. пьеса Э. Ростана пользовалась особой популярностью среди европейской интеллигенции начала XX в.

⁹ Ганеша – в индуизме бог мудрости и образованности, покровитель искусств и литературы. Изображается Ганеша в виде человека с большим животом и слоновьей головой с одним бивнем.

Сам Таи радостно признавал, что понятия не имеет, сколько ему на самом деле лет. Супруга тоже не знала: он, по ее словам, был уже весь задубелый, когда они поженились. Лицо его было будто вылеплено ветром и водою: складки кожи словно легкая зыбь. Во рту у него торчало два золотых зуба, других не было. Мало кто в городе с ним дружил. Немногие из лодочников и торговцев приглашали его выкурить кальян, когда он проплывал мимо причалов, где швартовались шикары, или мимо ветхих продовольственных складов и чайных, во множестве теснившихся по берегам.

Общее мнение о Таи давно уже выразил отец Адама Азиза, торговец драгоценными камнями: “Мозги у него вместе с зубами вывалились”. (Но нынче Азиз-сахиб¹⁰ сидит, поглощенный птичьими трелями, а Таи просто и величественно продолжает свой путь.) Это впечатление лодочник и сам поддерживал собственной болтовней – причудливой, высокопарной, безостановочной, чаще всего адресованной самому себе. Звуки его голоса далеко разносятся над водою, и озерный люд хихикает, слышав эти монологи, но в смехе сквозит почтение, даже страх. Почтение – потому, что старый дурень знает озера и холмы лучше любого насмешника; страх – оттого, что лодочник, неизмеримо древний, утратил счет своим годам, а все ж они не склонили его цыплячьей шеи, не помешали заполучить весьма завидную жену и заделать ей четырех сыновей... да и других еще, как болтают, другим прибрежным подругам. Лихие парни на пристанях были убеждены, что у него припрятана где-то куча денег – может быть, золотые зубы, отложенные про запас, постукивающие в мешочке, будто орехи. Годы спустя, когда дядюшка Пых, пытаясь всучить мне свою дочь, предлагал вырвать ей зубы и вставить золотые, мне припомнилось забытое сокровище Таи... и то, как Адам Азиз ребенком любил его.

Таи зарабатывал себе на жизнь как простой паромщик, несмотря на все слухи о богатстве: за плату возил через озера сено, коз, овощи и бревна и людей тоже. Когда он разъезжал взад-вперед по озеру, Таи воздвигал шатер в центре своей шикары: полог и занавеси из веселенькой цветастой материи, раскладывал такие же цветастые подушки и обкуривал лодку ладаном. Шикара Таи, скользящая к берегу с развевающимися занавесками, навсегда осталась для доктора Азиза самым рельефным образом наступающей весны. Скоро понаедут английские сахибы, и Таи повезет их в сады Шалимара и к Королевскому источнику, болтая без умолку, показывая пальцем, согнувшись на корме. Он был живым опровержением веры Оскара-Ильзе-Ингрид в неотвратимость перемен... ушлый, долголетний, привычный дух долины. Водяной Калибан¹¹, может, слишком приверженный к дешевому кашмирскому бренди.

Вспоминается голубая стена моей спальни, на которой рядом с письмом от премьер-министра долгие годы висел маленький Рэйли¹², глаз не сводящий со старого рыбака, на котором было надето что-то очень похожее на красные дхоти¹³ и который – сидя на куче плавника, что ли? – указывал перстом на море и рассказывал свои рыбацкие байки... а маленький Адам, мой будущий дед, прилепился сердцем к лодочнику Таи именно из-за его нескончаемых речей, которые все прочие люди считали признаком помешательства. То были волшебные речи: слова сыпались, будто деньги сквозь пальцы дурня, проскальзывали меж двух золотых зубов вместе с икотой и выхлопом бренди; они то парили над самыми отдаленными Гималаями прошлого, то впивались со всей пронизательностью в какую-то деталь настоящего – в Адамов нос, например, – разбирая по косточкам ее смысл, как вивисектор – подопытную мышку. Дружба эта весьма регулярно обдавала Адама кипятком. (Да, кипятком. Буквально. А его мать тем временем твердила: “Я этих паразитов повыведу, даже если придется заживо сварить тебя”.) И

¹⁰ Сахиб – господин.

¹¹ Калибан – персонаж “Бури” У. Шекспира, выросший на острове необразованный дикарь. В современной культурологии – обобщенный образ автохтонных культур.

¹² Уолтер Рэйли (ок. 1552–1618) – английский мореплаватель, организатор пиратских экспедиций к берегам Америки, поэт, драматург и историк.

¹³ Дхоти – кусок ткани, обертываемый вокруг бедер (обычная одежда мужчин индусов).

все же старый любитель монологов болтался в своей лодчонке у берега, к которому примыкал дальний конец сада, и Азиз сидел у его ног, пока не доносились из дома злобные голоса: приходилось идти и выслушивать нотацию матери о том, какой Таи грязный и как прожорливые микробы целыми армиями перебираются с его дряхлого гостеприимного тела на белоснежные накрахмаленные шаровары Адама. Но Адам постоянно возвращался на берег и вглядывался в утренний туман, пытаясь различить согнутый силуэт нечестивого оборванца, скользящего на своей волшебной лодке по зачарованным водам.

“Да сколько же тебе лет, Таи-джи?”¹⁴ (Доктор Азиз, взрослый, рыжебородый, уже примериваясь к будущему, вспоминает день, когда он спросил то, о чем спрашивать нельзя.) На миг воцарилась тишина, гремящая, как водопад. Монолог прервался. Только весло шлепало по воде. Он плыл в шикаре вместе с Таи, примостившись среди коз на охапке соломы, отлично зная, что дома его ждет палка и горячая ванна. Он хотел послушать рассказы – и вот единственным вопросом заставил замолчать рассказчика. “Нет, скажи, Таи-джи, ну сколько тебе на самом деле лет?” И тут словно ниоткуда возникает бутылка бренди: дешевое пойло таилось в складках широкого, теплого халата. Пьющего пробирает дрожь, он рыгает, в глазах огонь. Проблескивает золото. И – наконец! – речь: “Сколько лет? Спрашиваешь, сколько мне лет, молокосос, длинный нос...” Таи, предвосхищая рыбака на стене, указывает на горы. “Вот столько, накку¹⁵, сколько им!” Адам – накку, носач – следит за указующим перстом. “Я видел, как рождались эти горы; я видел, как умирали цари. Послушай. Послушай, накку... – снова бутылка бренди, а за ней голос и слова, пьяней всякого пойла, – ...я видел того Ису, того Христа, когда он приходил в Кашмир. Смейся, смейся: эту историю я приберег для тебя. Когда-то ее записали в старых, давно потерянных книгах. Когда-то я знал, где та могила, где тот могильный камень, на котором выбиты ноги со стигматами, кровоточащими раз в году. Памяти совсем не осталось, но я знаю, хотя и не умею читать”¹⁶. От грамоты он отмахивается величественным жестом, словесность рассыпается в прах под его рукою. Рука вновь скользит под халат, к бутылке бренди, взлетает к потрескавшимся от холода губам. Губы у Таи всегда были нежные, как у женщины. “Слушай, слушай, накку. Сколько я всего повидал. Йара¹⁷, видел бы ты того Ису, когда он пришел, борода до самой мошонки, а сам лысый как яйцо. Стар был, измотан, а о вежестве не забывал. ‘После вас, Тайджи, – говаривал, бывало, или: – Присаживайтесь, пожалуйста’, и речь такая почтительная, ни разу дурнем не назвал, даже на ‘ты’ не обратился. Воспитанный, ясно? А ел-то как! Такой голодный, что я только диву давался. Святой он там или черт, а только, клянусь тебе, мог сожрать целого козленка в один присест. И что с того? Я и говорю ему: ешь, набивай брюхо, человек приходит в Кашмир радоваться жизни, или умирать, или и то, и другое. Дело свое он закончил. Просто пришел сюда, чтобы пожить еще немножко”. Околдованный этим настоящим на коньяке портретом лысого прожорливого Христа, Азиз слушал, а позже повторял слово в слово остолбеневшим родителям, которые торговали камнями и не тратили время на пустые выдумки.

“Ах, ты не веришь? – он облизывает губы, ухмыляется, знает, что ничуть не бывало, что все как раз наоборот. – Слушаешь вполуха? – Хотя знает, как жадно ловит Азиз каждое его слово. – Может, солома колется, а? Ах, баба-джи, как жалко, что я не могу посадить тебя на шелковую подушку с золоченым кружевом, вроде той, на какой сживал император Джухан-

¹⁴ Джи – частица, присоединяемая (из вежливости, чтобы выразить уважение к собеседнику) к именам, титулам, названиям должностей и т. д.

¹⁵ Накку – носатик.

¹⁶ Среди мусульман Кашмира распространена легенда, согласно которой Иисус Христос, вопреки Писанию, не принял смерть на Голгофе, но был похищен некими преданными Ему “кашмирскими иудеями” и увезен в Кашмир. В Кашмире Иисус прожил еще тридцать лет, умер и был похоронен. Его “могилу” показывали туристам в Шринагаре еще в конце 1970-х гг.

¹⁷ Йара – приятель, дружище (фамильярное обращение).

гир¹⁸! Ты, поди, думаешь, что император Джахангир был садовником, – заседает он на моего деда, – потому что он выстроил Шалимар. Дурачок! Что ты знаешь об этом? Имя его значит ‘Окружающий Землю’. Разве такие имена бывают у садовников? И чему только учат нынче вас, мальчишек, одному Богу известно. А вот я... – тут он слегка запыхтел, – я знал его точный вес, до последней толы¹⁹! Спроси, сколько в нем было маундов²⁰, сколько серов²¹! От счастья он тяжелеет и в Кашмире бывал особенно тяжелым. Я носил его в паланкине... нет-нет, глянь-ка, ты опять не веришь, этот здоровенный огурчище на твоей физиономии качается туда-сюда, как и маленький огуречик в твоих широких штанах. Ну давай, давай, спрашивай меня! Проверь! Спроси, сколько раз кожаные ремни оплетали ручки паланкина, – и я тебе отвечу: тридцать один. Спроси, какое слово последним произнес император, – и я поведаю тебе: ‘Кашмир’. Дышал он с трудом, а сердце имел доброе. Кто я, по-твоему, такой? Какой-нибудь невежда, лживый бродячий пес? Давай-ка вылезай из лодки, мне этакую носяру не свезти; пускай отец выбьет из тебя мою болтовню, а матушка выпарит в кипятке твою шкуру”.

В бутылке бренди лодочника Таи многое предсказано: я вижу, как моим отцом завладевают джинны... будет вам и лысый чужестранец... еще кое-кого напророчила болтовня Таи, того, кто станет утешителем моей бабки на старости лет и тоже будет рассказывать ей истории... да и до бродячих псов недалеко... Ну, хватит. Я уже нагнал на себя страху.

Невзирая на битье и кипяченье, Адам Азиз плавал с Таи в его шикаре, раз за разом, среди коз-сена-цветов-мебели-лотосовых корней, но только не вместе с английскими сахибами – и раз за разом выслушивал удивительные ответы на один-единственный наводящий ужас вопрос: “Ну, Таи-джи, сколько же тебе лет, честно?”

У Таи Адам выведал секреты озера: где можно плавать, не цепляясь за водоросли, как называются одиннадцать разновидностей водяных змей, где лягушки мечут икру, как нужно готовить корень лотоса и где несколько лет назад утонули три англичанки. “Есть целое племя женщин, которые приходят к этой воде, чтобы утонуть, – говорил Таи. – Иногда они знают об этом, иногда – нет, но я-то сразу понимаю, стоит мне только почуять их запах. Они прячутся под воду Бог знает от кого или от чего – но от меня им не спрятаться, баба!” Смех Таи, которым заразился Адам – громоподобный, раскатистый, – казался жутким, когда исторгался из старого, высохшего тела, но был таким естественным для моего высоченного деда, что никто позже и не догадывался, что этот смех на самом деле ему не принадлежит (мой дядя Ханиф унаследовал этот смех, так что пока он не умер, частичка Таи жила в Бомбее). И от того же Таи мой дед услышал все о носах.

Таи заткнул себе левую ноздрю. “Ты знаешь, что это такое, накку? Это место, где внешний мир встречается с миром внутри тебя. Если им никак не сойтись, ты здесь это чувствуешь. Тебе это мешает, и ты трешь нос, чтобы он перестал свербеть. Такой нос, как твой, дурень ты безмозглый, – великий дар. Говорю тебе: доверяйся ему. Если нос тебя остерегает, оглядись вокруг, или тебе конец. Следуй за своим носом, и ты далеко пойдешь”. Он прокашлялся, обвел глазами горы минувших лет. Азиз снова уселся на солому. “Знавал я одного офицера из войска того Искандера Великого²². Имени не припомню. Меж глаз у него громоздился точно такой же овощ. Когда войско стало на привал подле Гандхары²³, он влюбился в какую-то тамошнюю шлепиховку. И нос у него зачесался, как бешеный. Он тер его, тер, а все без толку. Дышал парами давленных листьев эвкалипта. Не помогло, баба! Чесотка эта свела его с ума, но чертов

¹⁸ Джахангир (1605–1627) – четвертый император династии Великих Моголов. По повелению Джахангира неподалеку от Шринагара был разбит роскошный императорский парк Шалимар.

¹⁹ Тола – мера веса (приблизительно 12 кг).

²⁰ Маунд – мера веса. В Индии: уставный – 37,324 кг, бомбейский – 12,701 кг, гуджратский – 16,783–19,958 кг.

²¹ Сер – мера веса (сыпучие тела; в разных областях по-разному: от 600 г до 1 кг).

²² Имеется в виду Александр Македонский, совершивший в 327–325 гг. до н. э. поход в Индию.

²³ Гандхара – в древнеиндийских текстах название области (царства), располагавшейся на северо-западе Индии.

дурень все же пустил корни и остался со своей маленькой ведьмой, когда войско вернулось домой. И что из него получилось, а? Болван, да и только, ни то ни сё, серединка на половинку, со сварливой женою и чесоткой в носу, и в конце концов он воткнул себе меч в брюхо. Ну, что ты на это скажешь?”

...Доктор Азиз в 1915 году, в тот день, когда рубины и бриллианты сделали и его “серединкой на половинку”, вспоминает эту историю, пока Таи подплывает на расстояние голоса. Нос у Адама чешется. Адам его трет, мнет, трясет головой, и вот наконец слышится крик Таи:

– Эй! Доктор-сахиб! У Гхани, помещика, заболела дочка.

От этой краткой вести, от этого бесцеремонного крика, несущегося через водную гладь – а ведь лодочник и его ученик не виделись полдесяток лет, – от того, что женственные губы не сложились в приветственную, как-давно-не-видались, улыбку, время понеслось вскачь, закружилось водоворотом, замутилось, взыграло, взволновалось...

– ...Только подумай, сынок, – говорит матушка Адама, прихлебывая свежую лимонную воду, откидываясь на тахту в привычном изнеможении, – как повернулась жизнь. Столько лет я даже щиколотки свои держала в тайне, а теперь на меня глазают чужие люди, даже не родичи.

...А Гхани-помещик стоит перед большой написанной маслом картиной в резной позолоченной раме: на картине изображена Диана-охотница. Нацепив темные очки с толстыми стеклами и свою знаменитую ядовитую улыбочку, он рассуждает об искусстве: “Картину эту, доктор-сахиб, я купил у одного англичанина, которому не повезло. Всего-то за пятьсот рупий, я даже не торговался. Что такое пять сотен? Я, знаете ли, люблю культуру”.

– ...Погляди, сынок, погляди, – говорит матушка Адама, когда тот приступает к осмотру, – чего только мать не сделает ради своего дитяти. Погляди, как я страдаю. Ты ведь доктор... потрогай эти прыщи, эту угревую сыпь, представь себе, как болит у меня голова утром-днем-вечером-ночью. Налей еще воды, сынок.

...Молодого доктора охватило судорожное волнение, ничего общего не имевшее с Гиппократовой наукой, и он завопил в ответ на призыв лодочника: “Сейчас еду! Только вещи соберу!” Нос шикары втыкается в кромку сада. Адам бросается в дом, под мышкой молитвенный коврик, свернутый наподобие сигары; голубые глаза моргают, не успев привыкнуть к полутьме; вот он закинул сверток на самую высокую полку, поверх стопок номеров газеты “Форветс”²⁴, работы Ленина “Что делать?” и других брошюр – пыльного эха полустершейся немецкой жизни; вот вытаскивает из-под кровати подержанный кожаный чемоданчик, который его матушка называет “доктори-атташе”, и, когда вылезает вместе с ним на свет божий и бросается вон из комнаты, мелькает на мгновение надпись “Гейдельберг”, вытравленная на дне. Дочь помещика, пусть и больная, – это очень кстати для доктора, желающего сделать карьеру. На самом деле, именно *больная* она, и кстати.

...А я торчу здесь, как пустая банка из-под солений, в озерце углового света и вижу перед собой воочию моего деда шестьдесят три года тому назад: он прямо-таки требует, чтобы о нем написали, и в ноздри мне ударяет кислый дух поруганной скромности, от которой у его матери вызревают фурункулы, и уксусная крепость решения, принятого Адамом Азизом: завести такую успешную практику, чтобы ей больше не пришлось возвращаться в ювелирную лавку; подслеповатая затхлость большого, полного теней дома, где молодой доктор стоит, весьма сконфуженный, перед картиной, на которой изображена невзрачная девушка с живым взглядом, а за ней, далеко на горизонте, олень, пронзенный стрелой из ее колчана. Все важное в нашей жизни происходит большей частью без нас, но я, кажется, как-то исхитрился найти способ заполнить пробелы в своем знании, и потому все хранится в моей голове, все, до малейшей детали, даже клубы тумана, что поднимаются наискось, влекомые рассветным ветерком... все-

²⁴ “Форветс” – название газеты, центрального органа германской социал-демократии, издававшейся в Берлине с 1890 г.

все, а не только некие ключи к прошлому, на которые натыкаешься, открыв, например, старый жестяной сундук, – право, лучше бы ему, оплетенному паутиной, оставаться под замком.

...Адам наливает матери лимонной воды и, обеспокоенный, продолжает осмотр. “Помажь эти прыщи и эту сыпь кремом, амма²⁵. От головной боли – таблетки. Фурункулы надо вскрыть. Но, может, тебе надевать покрывало, когда ты сидишь в лавке... тогда нескромный взгляд не достиг бы... подобные болезни часто происходят от воображения...”

...Весло плещет по воде. Плевков смачно плюхается в озеро. Таи прочищает горло и сердито бормочет: “Ничего себе. Молокосос-длинный нос уезжает, не успев ничему путному научиться, и возвращается большим человеком, доктором-сахибом, с большим баулом, битком набитым разными заграничными штуками, а сам-то еще глуп, как филин. Плохо дело, ей-богу, плохо”.

...Доктор Азиз неловко переминается с ноги на ногу, завидя улыбочку помещика – разве можно чувствовать себя вольготно, когда к тебе обращаются с такой ухмылкой, – и ждет гримасы, реакции на свою незаурядную внешность. Он уже привык к выпученным глазам, к открытым ртам: людей поражает его рост, многоцветное лицо, нос... но Гхани невозмутим, и молодой доктор со своей стороны тоже пытается не выказать смущения. Он перестает раскачиваться. Гость и хозяин глядят друг на друга, никак не обнаруживая своих друг о друге мыслей, закладывая основы будущих отношений. И тут Гхани меняет тон: любитель искусства превращается в человека крутого, властного. “Это для вас недурной шанс, юноша”, – говорит он. Азиз отводит взгляд, смотрит на Диану. На обозрение выставлены изрядные пространства ее подпорченной розовой плоти.

...Мать мычит, мотает головой. “Нет, сынок, где тебе понять, ты стал большим доктором, но ювелирная лавка – совсем другое дело. Кто купит бирюзу у женщины, скрытой под черным капюшоном? Нужно внушить доверие. Покупатели должны видеть меня, а я должна страдать от мигрени и фурункулов. Ладно, иди, не ломай себе голову из-за твоей бедной матери”.

– ...Большой человек, – Таи сплевывает в озеро, – большой баул, большой человек. Тьфу! Разве у нас дома не хватает сумок, с чего это вдруг тебе приспичило притащить эту штуку из свиной кожи, оскверняющую человека при одном только взгляде на нее? А внутри – вообще Бог знает что.

Доктор Азиз, сидящий за цветастыми занавесками и вдыхающий запах ладана, отвлекается от мыслей о пациентке, ждущей на другом берегу. Яростный монолог Таи достигает его сознания, производит впечатление тяжелого, тупого удара, будто запах больничной палаты перебивает пары благовоний... старик чем-то взбешен, его охватил непостижимый уму гнев, направленный, похоже, на былого приверженца, или, точнее и еще загадочнее, на его сумку. Доктор Азиз пытается завязать беседу: “Здорова ли твоя жена? Говорят ли еще о твоём мешке с золотыми зубами?”... Он старается возродить прежнюю дружбу, но Таи непримирим, брань так и рвется из него мощно, неудержимо. Чемоданчик из Гейдельберга буквально трещит под напором этой бури оскорблений. “Треклятая свиньячья кожа из заграницы, растудыть ее сестрицу!.. Битком заграничными штуками набита. Великая вещь. Теперь, если кто-то сломает руку, этот баул не позволит костоправу обернуть ее листьями. Теперь мужчина должен глядеть, как жена его лежит рядом с этим баулом, а оттуда скачут ножи и кромсают ей утробу. Ну и дела! Вот что иностранцы повбивали в головы нашей молодежи. Правду говорю: плохо дело, куда как плохо. Гореть этой сумке в аду вместе с мудями неверных”.

...Гхани, помещик, щелкает подтяжками. “Недурной шанс, да-да. О вас хорошо говорят в городе. Отличное медицинское образование. Хорошая... неплохая семья. А нынче наша знахарка заболела, так что пользуйтесь случаем. Эта женщина вечно болеет последнее время, слишком стара, да и, разумеется, не в курсе новейших веяний – что-что? Вот и я говорю: врач,

²⁵ Амма – матушка, мать.

исцелился сам. И еще скажу: в делах я беспристрастен. Чувства, любовь, неясность – только для семьи. Если я не получаю первоклассной работы – все, до свидания! Понятно? Так вот: моя дочка Назим нездорова. Лечите ее как следует. Помните: у меня всюду друзья, а болезнь поражает равно людей высоких и низких”.

– ...Ты еще настаиваешь бренди на водяных змеях, чтобы сохранить мужскую силу, а, Таи-джи? Ты еще ешь корни лотоса просто так, без специй?

Робкие вопрошания, сметенные бурным потоком ярости Таи. Доктор Азиз принимается за диагноз. Для лодочника Таи сумка представляет собой границу, эта вещь – чужая, пришлая, это – зримый прогресс. Да-да: она в самом деле занимает мысли доктора, и в ней лежат ножи и лекарства от холеры, от малярии, от оспы, и она стоит между лодочником и доктором, разводит их по разные стороны. Доктор Азиз пытается совладать с печалью, совладать с яростью Таи, которая понемногу проникает в него, сливается с его собственной, той, что нечасто дает о себе знать, но является без предупреждения, бурно исторгаясь из самых глубин, сметая все на своем пути, а когда утихает, доктор удивляется, что же так потрясло всех вокруг... Они подплывают к дому Гхани. Помещик ждет, когда причалит шикара, стоит на узкой деревянной пристани, сцепив руки. Азиз старается думать только о предстоящей работе.

“Ваш домашний врач ничего не имеет против моего визита, Гхани-сахиб?”...Робкий вопрос отбрасывается небрежно, походя. Помещик отвечает: “О, она ничего не будет иметь против. Прошу вас, следуйте за мной”.

...Лодочник ждет у причала. Удерживает лодку в равновесии, пока Адам Азиз вылезает с чемоданчиком в руке. И тут наконец Таи обращается непосредственно к нему, к моему деду. Презрительно скривившись, Таи спрашивает: “Скажи-ка мне, доктор-сахиб, есть ли в твоей сумке, сделанной из дохлых свиней, такая машинка – чужестранные доктора употребляют ее, чтобы нюхать?” Адам трясет головой в недоумении. В голосе Таи нарастает, ширится отвращение. “Да вы знаете, о чем я, господин: такая штукавина вроде слоновьего хобота”. Азиз, догадавшись наконец, к чему клонит старик, отвечает: “Стетоскоп? Конечно, есть”. Таи отталкивает лодку от причала. Плюет. Отплывает подальше. “Так я и знал, – кричит. – Теперь ты приладишь эту машинку вместо своего носяря”.

Мой дед даже не берет на себя труд объяснить, что стетоскоп – скорее “уши”, чем “нос”. Он подавляет досаду, обиду и злость покинутого ребенка; его ждет пациент. Время успокоилось, обрело равновесие, сосредоточилось на важности момента.

Дом был роскошный, но скудно освещенный. Гхани вдовел, и слуги явно этим пользовались. Паутина оплетала углы, пыль слоями лежала на обитых деревом стенах. Они прошли по коридору; одна дверь оказалась приоткрыта, и сквозь нее Азиз разглядел ужасающий беспорядок в комнате. Этот мимолетный взгляд и – одновременно – блик света на темных очках Гхани внезапно открыли Азизу, что помещик слеп. Чувство неловкости усилилось: слепой, объявляющий себя ценителем европейской живописи? Поражало и то, что Гхани ни разу не споткнулся... вот они остановились перед прочной дверью из тика. Гхани сказал: “Подождите здесь пару минут”, – и скрылся за дверью.

Позже Адам Азиз клялся, что в эти две минуты одиночества, которые он провел в полутемном, оплетенном паутиной коридоре помещичьего дома, его охватило неудержимое, с трудом подавляемое желание повернуться и бежать прочь со всех ног. Загадочная любовь слепого к живописи лишала мужества, мурашки бегали по спине от коварного, ядовитого бормотанья Таи, нос чесался так, что Азиз подумал, не подхватил ли он часом венерическую болезнь, а ноги медленно, будто подошвы, вдруг налились свинцом, начали поворачиваться, и тут доктора словно громом поразило: он почувствовал, что с этого места, из этого момента уже не будет возврата, и едва не обмочил свои шерстяные немецкие штаны. Он, не сознавая того, весь вспыхнул, и в этот миг будто вживе явилась перед ним его мать – вот она сидит на полу перед низким столиком и рассматривает на свет бирюзу: сыпь, словно румянец, обметала ей щеки. На

лице матери выражалась та же мера презрения, какой окатил его лодочник Таи. “Давай, давай беги, удирай, – говорила она голосом Таи. – Что тебе за дело до бедной старой матери”. Доктор Азиз забормотал, не отдавая себе отчета: “Негодный сын у тебя, Амма: разве ты не видишь, что в середине у меня дыра размером с дыню?” На губах матери показалась страдальческая улыбка: “Ты всегда был бессердечным мальчишкой”, – сказала она, вздохнула, обернулась ящеркой на стене коридора и показала сыну язык. У доктора Азиза больше не кружилась голова, он даже не был уверен, что в самом деле говорил вслух, и понятия не имел, что за дыра такая, – и тут вдруг поймал на себе чей-то взгляд. Женщина с бицепсами борца глядела на него, манила пальцем, приглашая войти. По тому, как на ней было надето сари, доктор определил, что женщина эта – служанка, но в ней не замечалось угодливости. “Ты зеленый, как рыба, – заявила она. – Ох уж эти молодые доктора. Являются к добрым людям в дом, а у самих все нутро переворачивается. Входите, доктор-сахиб, вас ждут”. Чуть крепче, чем следовало, стиснув в руке чемоданчик, он прошел вслед за служанкой через темную тиковую дверь.

... В просторную спальню, столь же скудно освещенную, как и остальной дом, хотя длинные, пропитанные пылью стрелы солнечного света и проникали сквозь веерообразное окошко, прорубленное высоко в стене. Эти тусклые лучи освещали самую примечательную сцену, какую только доводилось видеть доктору, столь странную, невероятную картину, что ноги его опять повернулись к двери. Еще две женщины, тоже сложенные, как профессиональные борцы, стояли неподвижно в солнечном свете, и каждая держала край огромной белой простыни; руки их были подняты высоко над головами так, что полотнище простиралось между ними, будто занавес. Господин Гхани возник из мрака, окружавшего озаренную солнцем простыню, и позволил растерянному Адаму с полминуты таращить глаза на немыслимую картину, а потом, так и не дождавшись от него ни единого слова, доктор сделал открытие.

В самом центре простыни была прорезана дыра – грубый, неровный круг дюймов семи в диаметре.

– Закрой дверь, нянюшка, – велел Гхани первой из теток, а потом, повернувшись к Азизу, продолжил доверительным тоном. – В этом городе полно лоботрясов, которые уже пытались залезть в комнату моей дочки. Ей нужны, – он кивнул в сторону трех мускулистых теток, – нужны защитницы.

Азиз все смотрел на продырявленную простыню. Гхани сказал:

– Ну же, начинайте: можете осмотреть мою Назим прямо сейчас. *Pronto*²⁶.

Мой дед обвел глазами комнату.

– Но где же она, Гхани-сахиб? – выпалил он наконец. Тетки приняли надменный вид и, как показалось Азизу, напрягли мускулы на случай, если бы он попытался совершить что-то неподобающее.

– О, вижу, вы смущены, – возгласил Гхани, и его ядовитая ухмылочка стала еще шире. – Вы, молодежь, вернувшись из Европы, забываете о некоторых вещах. Доктор-сахиб, моя дочь – порядочная девушка, тут спору нет. И она не станет выставлять себя напоказ перед чужими. Вы должны понимать, что вам не будет позволено увидеть ее ни за что, ни при каких обстоятельствах; соответственно, я попросил ее разместиться за этой простыней. Там она, послушная девочка, и стоит.

Нотка неистовства прокралась в голос доктора Азиза.

– Гхани-сахиб, скажите мне, как я смогу осмотреть ее, не глядя?

Гхани улыбнулся.

– Будьте любезны определить, какую часть моей дочери вам необходимо подвергнуть осмотру. И тогда я велю ей поместить нужный сегмент перед дырой, которую вы видите. Таким образом цель будет достигнута.

²⁶ Быстро (*ит.*).

- На что же, раз на то пошло, жалуется госпожа? – в отчаянии вскричал мой дед.
- И господин Гхани, закатив глаза и преобразив свою улыбочку в гримасу горя, ответил:
- Бедная девочка! У нее ужасно, невыносимо болит живот.
- В таком случае, – несколько принужденно сказал доктор Азиз, – пусть она соблаговолит показать мне живот.

Меркурохром

Падма, наша пухленькая Падма, великолепно дуется. (Читать она не умеет и, как прочие любители рыбы, терпеть не может, когда кто-то знает то, чего не знает она. Падма – крепкая, веселая, утешение моих последних дней, но определенно собака на сене.) Она старается выманить меня из-за стола: “Эй, поешь, все пропадает”. А я упрямо склоняюсь над бумагой. “Но что такого бесценного, – спрашивает Падма и гневно машет рукою, – в твоих бумажках-подтереть какашку?” Я отвечаю: теперь, когда я обмолвился об особенном своем рождении, когда простыня с прорезью натянута между доктором и пациенткой, мне уже нет пути назад. Падма фыркает. Бьет себя запястьем по лбу. “Ладно, голодай-голодай, кому до этого дело?” Фыркает еще раз, громко, окончательно. Но я не возражаю, пускай ведет себя, как хочет. Целыми днями помешивает она кипящее в котлах варево, чтобы заработать на жизнь; уксусные пары нынче вечером бросились ей в голову. Крутобедрая, с густым пушком на руках, она мечется по комнате, бурно жестикулируя, наконец выбегает вон. Бедная Падма. Вечно ей приходится за все отдуваться. Даже за свое имя: понятное дело, давным-давно, когда Падма была еще маленькой, мать рассказала ей, что назвали ее в честь богини лотоса, которую в деревнях обычно зовут Владычицей Навоза.

В заново воцарившейся тишине я возвращаюсь к своим бумажкам, припахивающим куркумой, полный желания извлечь из их скудости рассказ, вчера оставленный на полдороге, – точь-в-точь Шахерезада, ради спасения жизни ночь за ночью возбуждавшая любопытство царя Шахрияра! Сразу скажу: предчувствия, которые испытал мой дед, стоя в коридоре, имели под собой основание. На последующие месяцы и даже годы он подпал под – иного определения мне не сыскать – колдовские чары этой огромной, пока еще незапятнанной простыни с прорезью.

– Опять? – изрекла мать Адама, закатывая глаза. – Говорю тебе, сынок: эта девушка болеет от хорошей жизни. Перекормлена сладостями, избалована – а все потому, что нет твердой материнской руки. Ну ступай, лечи свою невидимую больную, а мать твоя как-нибудь перетерпит жалкую, пустяковую мигрень.

Дело в том, что за эти годы помещичья дочка Назим Гхани умудрилась подхватить поразительное количество не слишком серьезных болячек, и всякий раз посылали шикару за молодым доктором-сахибом, долговязым и носатым, который уже становился известным в долине. Визиты Адама Азиза в спальню, пронизанную солнечными стрелами, охраняемую тремя мускулистыми тетками, сделались еженедельными, и каждый раз ему дозволялось взглянуть сквозь изувеченную простыню на очередной семидюймовый кружочек девичьего тела. За больным животом последовали слегка вывихнутая правая щиколотка, вросший ноготь на большом пальце левой ноги, крошечный порез на левой лодыжке. “Столбняк – вот что страшно, доктор-сахиб, – твердил помещик. – Моя Назим не должна умереть от царапины”. Потом перестало сгибаться правое колено, и доктору пришлось вправлять его через дыру в простыне... а спустя какое-то время болезни переместились выше, минуя некие неназываемые зоны, и расцвели пышным цветом на верхней половине тела. Девушка страдала от таинственного недуга, который ее отец называл “гнилью на пальцах”: на руках у нее чешуйками отслаивалась кожа; от слабости в запястьях, в связи с чем Адам прописал ей таблетки кальция; от жестоких запоров, которые лечились многократным приемом слабительного, ибо и речи не могло быть о том, чтобы доктору позволили поставить ей клизму. То ее лихорадило, то она страдала от пониженной температуры. В таких случаях ей ставился градусник под мышку, а доктор, запинаясь, что-то мямлил по поводу относительного несовершенства подобного метода. Под мышкой другой руки у нее развился опоясывающий лишай, в очень легкой форме, и Адам Азиз сделал присыпку желтым порошком; после лечения, в ходе которого потребовалось втирать присыпку, бережно, однако довольно решительно, хотя мягкое потаенное тело содрогалось и

корчилось и доктор слышал из-за простыни судорожный смех – ибо Назим Гхани очень боялась щекотки, – чесотка прошла, но вскоре помещицью дочку одолели новые болезни. Летом ее донимала анемия, зимой – бронхит. (“У нее такие нежные бронхи, – объяснял Гхани, – как маленькие флейты”). Где-то далеко гремела, двигалась от битвы к битве мировая война, а в оплетенном паутиной доме доктор Азиз тоже вел упорное сражение с нескончаемыми недугами своей разделенной на сегменты пациентки. И за все эти военные годы ни одна болезнь у Назим ни разу не повторилась. “А это только доказывает, – толковал Гхани, – что вы – хороший доктор. Лечите раз и навсегда. Но увы! – тут он ударял себя кулаком в лоб. – Она тоскует по матери, бедная девочка, и тело ее страждет. Она так сильно любила мать”.

Мало-помалу доктор Азиз нарисовал в уме облик Назим, плохо склеенный коллаж из кусочков, осмотренных в разное время. Этот призрак разделенной на части женщины стал преследовать его, и не только в мечтах. Слепленная воображением, она сопровождала его всюду, всегда стояла перед внутренним взором, так что и наяву, и во сне он ощущал под кончиками пальцев мягкую, вздрагивающую от щекотки плоть, крохотные безупречные запястья, красивые щиколотки; ему всюду чудился ее запах, запах лаванды и чамбели²⁷; он всюду слышал ее голос, ее детский смех – но призрак был безголовым, потому что доктор ни разу не видел лица.

Его мать лежала на кровати ничком, широко раскинув руки. “Иди, иди сюда, помассируй мне спину, – говорила она, – иди ко мне, сынок мой, доктор: только твои пальцы и могут размять мышцы старой матери. Жми, жми, сыночек мой, надутый, как гусь, страдающий от запора”. Он мял ей плечи. Она ворчала, передергивалась, расслаблялась. “Ниже, – указывала, – теперь выше. Справа. Вот так. Умный мой сын, которому невдомек, куда клонит этот Гхани. Такой образованный у меня сынок, а никак не догадается, почему эта девица все время страдает от своих ничтожных хворей. Послушай, сынок, взгляни хоть разик чуть дальше собственного носа: Гхани думает, что ты для нее – хорошая партия. Учился за границей и все такое. Я сидела в лавке, и меня раздевали глаза чужих мужчин ради того, чтобы ты женился на своей Назим! Конечно, все так и есть, иначе бы Гхани и не взглянул в нашу сторону. – Азиз надавил сильнее. – О боже, не нужно меня душить только потому, что я говорю правду!”

К 1918 году вся жизнь Адама Азиза уже заключалась в этих поездках через озеро. Рвение его росло, ибо стало ясно, что по прошествии трех лет помещик и его дочка решили понизить планку. Сегодня Гхани заявил: “Уплотнение на правой груди. Это опасно, доктор? Взгляните. Взгляните хорошенько”. И вот, в обрамлении прорези, появилась совершенной формы, девичья прелестная... “Я должен прощупать”, – сказал Азиз, стараясь совладать со своим голосом. Гхани похлопал его по спине: “Щупайте, щупайте! – вскричал он. – Руки целителя! Врачующее прикосновение, а, доктор?” И Азиз протянул руку... “Извините за такой вопрос, но у госпожи случайно нет месячных?” Заговорщицкие улыбочки расцвели на лицах мускулистых теток. Гхани закивал, довольный: “Есть. Только не смущайтесь, старина. Вы теперь наш семейный доктор”. И Азиз: “Тогда не о чем беспокоиться. Гнойники сойдут, когда кончатся месячные...” А в следующий раз: “Потянула связку на бедре, сзади, доктор сахиб. Дикая боль!” И вот посреди простыни, слепя глаза Адаму Азизу, явилась восхитительно круглая, неподражаемая ягодица... И Азиз: “Будет ли позволено, чтобы...” Гхани произносит свое слово, за простыней покорно соглашаются; тесемка развязывается, и шальвары спадают с небесной красоты крестца, который дивом дивным выпирает из дырки. Адам Азиз с трудом настраивает себя на медицинский лад... протягивает руку... щупает. И готов поклясться, что видит, с превеликим изумлением, как на попке проступает стыдливый, но жаркий румянец.

Весь вечер маячил перед глазами Адама этот маков цвет. Неужто волшебство творилось по обе стороны дыры? Взволнованный, он представлял себе лишенную головы Назим, как она трепещет от его испытующего взгляда, его термометра, его стетоскопа, его пальцев, и пытался

²⁷ Чамбелли – жасмин.

выстроить его, доктора, образ, сложившийся в ее уме. Она, конечно, была в худшем положении, ибо видела только его руки... Адам начал питать незаконную, отчаянную надежду: вдруг у Назим Гхани разболится голова, вдруг она расцарапает свой незримый подбородок – тогда они смогут посмотреть друг другу в лицо. Он понимал, сколь далеки его чувства от профессиональной этики, но не стал их сдерживать. Он ничего не мог поделать. Чувства эти зажали собственной жизнью. Короче говоря, мой дед влюбился, и простыня с прорезью стала представляться ему чем-то священным, чудотворным, ибо сквозь нее он увидел то, что закрыло наконец дыру в его теле, которая возникла, когда кочка стукнула его по носу, а лодочник Таи предал поношению.

В день, когда закончилась мировая война, у Назим случилась столь долгожданная головная боль. Подобные совпадения с историей устали, а может, оскверняли путь моей семьи в большом мире.

Адам едва осмелился взглянуть на то, что явилось в обрамлении прорези. А вдруг она безобразна; может, этим и объясняется весь спектакль... но он все же взглянул. И увидел мягкое лицо, отнюдь не уродливое, оправу, бархатную подушечку для глаз, сверкающих словно самоцветы, карих, с золотыми крапинками: тигриных глаз. Доктор Азиз влип окончательно. А Назим выпалила: “Но боже мой, доктор, вот это нос!” Гхани – сердито: “Дочка, подумай, что ты...” Но пациентка и доктор дружно расхохотались, и Азиз заявил: “Да-да, превосходный образчик. Мне говорили, что потомки теснятся в моих ноздрях... – тут он прикусил язык, ибо чуть было не добавил: – ...как сопли”.

И Гхани, слепой Гхани, который три года простоял подле простыни, улыбаясь, улыбаясь и улыбаясь, опять улыбнулся своей коварной улыбочкой – и она отразилась на губах мускулистых теток.

Тем временем лодочник Таи, никому ничего не объясняя, вдруг прекратил мыться. В долине, буквально пропитанной свежей озерной водой, где последние бедняки могли гордиться своей чистоплотностью (и в самом деле гордились), Таи предпочел вонять. Вот уж три года, как он не окунался в воду и даже не подмывался, оправив естественную надобность. Носил он, невымытый, все ту же одежду, год за годом; только зимой надевал халат поверх зловонных штанов. Глиняный горшочек с горячими углями, который он по обычаю кашмирцев носил под халатом, чтобы согреться в жестокую стужу²⁸, лишь пробуждал к жизни и усиливал зловоние. Он взял за правило медленно проплывать мимо дома Азиза, и кошмарный смрад от его тела просачивался через крохотный садик к самому дому. Цветы засыхали, птицы улетали прочь от окна старого Азиза. Разумеется, Таи растерял всех своих клиентов, особенно англичане не желали, чтобы их перевозила такая помойка в человеческом облике. Все озеро облетела весть, что жена Таи, доведенная до остервенения столь внезапной приверженностью старика к собственной грязи, взмолилась, чтобы тот объяснил, в чем дело. И Таи ответил: “Спроси того доктора, что вернулся из заграницы, спроси носача, немца Азиза”. Была ли то и в самом деле попытка оскорбить докторовы сверхчувствительные ноздри (которые не чесались уже, предчувствуя опасность, под целительным воздействием любви)? Или же то было утверждение косности, неизменности, вызов вторжению “доктори-атташе” из Гейдельберга? Однажды Азиз прямо спросил у старика, к чему все это, но Таи лишь дохнул на него и поплыл прочь. Выдох этот чуть не расколол Азиза надвое: острый он был, как топор.

В 1918 году отец доктора Азиза, лишившись своих птиц, умер во сне, а мать, которая смогла продать ювелирную лавку благодаря успехам Азиза, все расширявшего свою практику, и для которой смерть мужа явилась милостивым избавлением от жизни, полной ответственности, слегла и последовала за супругом еще до окончания сорокадневного траура. К тому

²⁸ Осенью и зимой, когда температура нередко бывает близка к нулю или даже опускается ниже, кашмирцы согреваются, повесив на шею на толстой тесьме или веревке глиняный горшочек, наполненный горячими углями.

времени, как индийские полки вернулись с фронтов, доктор Азиз остался сиротой и сделался свободным человеком – вот только сердце его выпало через дыру дюймов семи в диаметре.

Опустошительный эффект поведения Таи: оно разрушило добрые отношения доктора Азиза с плавучим озерным людом. Ребенком непринужденно болтавший с женами рыбаков и цветочницами, теперь он всюду встречал косые взгляды. “Спросите носача, немца Азиза”. Таи заклеил его как чужака, то есть человека, которому нельзя полностью доверять. Люди не любили лодочника, но их смущало внезапное преобразование старика, к которому явно приложил руку доктор. Азиз обнаружил, что бедняки в чем-то подозревают его, даже избегают, и это его больно ранило. Теперь он понял, что затеял Таи: старик пытался выгнать его из долины.

История с прорезью в простыне тоже сделалась всеобщим достоянием. Мускулистые служанки явно не умели держать язык за зубами, как это казалось на первый взгляд. Азиз стал замечать, что люди показывают на него пальцем. Женщины хихикали, прикрыв ладошкой рот...

“Я решил: пусть Таи празднует победу”, – заявил он. Три служанки – две, что держали простыню, и третья, отиравшаяся около двери, – напрягли слух, стараясь услышать хоть что-то сквозь вату в ушах. (“Я попросила отца, чтобы он их заставил заткнуть уши, – поведала ему Назим. – Теперь эти болтушки не смогут трепать языком направо и налево”.) Глаза Назим, обрамленные краями дыры, сделались огромными.

...Как у него самого несколько дней назад, когда он, бродя по улицам городка, увидел, как прибывает последний автобус этого зимнего сезона, весь изукрашенный яркими, разноцветными изречениями (спереди красовалось: **ДА БУДЕТ ВОЛЯ БОЖЬЯ!** зелеными буквами, подведенными красным; сзади желтая с синим обводом надпись кричала: **СЛАВА БОГУ!** а нахально-бордовая вторила: **ПРОСТИ-ПРОЩАЙ!**), и узнал сквозь паутинку новых ободков и морщинок на лице Ильзе Любин, которая выходила...

Теперь Гхани-помещик оставлял его на попечении стражниц с заткнутыми ушами: “Можете немного поговорить: отношениям доктора с пациенткой доверительность пойдет только на пользу. Я наконец это понял, Азиз-сахиб, простите мои прежние вторжения”. Язычок Назим развязывался с каждым днем. “Что это за речи? Вы мужчина или мышь? Покинуть дом из-за вонючего лодочника!”...

– Оскар погиб, – рассказывала Ильзе, сидя на тахте его матери и прихлебывая свежую лимонную воду. – Умер, как клоун. Пошел говорить с солдатами, призывал их не быть пешками. Дурачок и вправду думал, будто они побросают ружья и разойдутся. Мы смотрели в окошко, и я молилась, чтобы его не затоптали. Полк уже научился ходить строем, ребят было попросту не узнать. Оскар бросился прочь с плаца, добежал до угла, но запнулся о развязанный шнурок и упал на асфальт. Штабная машина задавила его насмерть. Вечно у него, у простофили, развязывались шнурки... – тут бриллианты повисли, застывая, у нее на ресницах... – Такие, как он, позорят имя анархиста.

– Ну ладно, – смирилась Назим, – у вас появится прекрасная возможность найти работу. Университет в Агре – славное место, не думайте, будто я не знаю. Доктор университета... звучит неплохо. Так и скажите, что вы за этим едете, тогда – другое дело. – Ресницы опустились над краем дыры. – Мне, конечно, будет вас не хватать...

– Я влюблен, – признался Адам Азиз Ильзе Любин. И чуть позже: – ...Хотя я видел ее только сквозь прорезь в простыне, по частям, клянусь тебе, у нее краснеют ягоды.

– Тут что-то такое носится в воздухе, – изрекла Ильзе.

– Назим, я уже получил работу, – волнуясь, сообщил Адам. – Сегодня пришло письмо. Приглашение действительно с апреля 1919 года. Ваш отец говорил, что может найти покупателя на мой дом и на ювелирную лавку тоже.

– Вот и чудно, – надулась Назим. – Значит, теперь мне нужно искать другого доктора. Или снова звать старую каргу, которая толком ничего не знает.

– Ведь я сирота, – сказал доктор Азиз, – и поэтому пришел сам, а не послал родных. И все же я пришел, Гхани-сахиб, в первый раз пришел без вызова. Мой визит – не визит врача.

– Дорогой мой мальчик! – кричит Гхани, хлопая Адама по плечу. – Конечно, ты женишься на ней. Я дам первоклассное приданое! На свадьбу денег не пожалею! Это будет свадьба года, о да!

– Я уезжаю и не могу оставить тебя, – сказал Азиз помещицкой дочке Назим.

А Гхани воскликнул:

– Довольно ломать комедию! К чему теперь эта дурацкая простыня! Бросайте ее, женщины: перед вами – юные влюбленные!

– Наконец-то, – сказал Адам Азиз, – я вижу тебя целиком. Но теперь я должен уйти. Больные ждут... и одна моя старая знакомая гостит у меня, я должен рассказать ей, чтобы она порадовалась за нас с тобой. Очень хорошая подруга из Германии.

– Нет, Адам-баба, – сказал его помощник, – я с самого утра не видел Ильзе-бегам²⁹. Она наняла шикару старого Таи и поехала кататься.

– Что тут скажешь, господин? – смиренно бормотал Таи. – Мне и в самом деле оказали честь и вызвали в дом такого большого человека, как вы. Господин мой, госпожа наняла меня для поездки в сад Моголов, хотела посмотреть, пока озеро не замерзло. Такая тихая госпожа, доктор-сахиб, за все время не сказала ни слова. Вот я и погрузился, по обычаю стариков, в свои собственные недостойные мысли, а когда очнулся – глядь, а ее на месте и нет. Сахиб, жизнью жены клянусь: невозможно ничего разглядеть из-за спинки сиденья, так что же я вам расскажу? Поверьте бедному старому лодочнику, ведь он был вам другом, когда вы были молоды...

– Адам-баба, – перебил помощник, – простите, но я только что нашел эту записку на ее столе.

– Я знаю, где она, – доктор Азиз пристально взглянул на Таи. – Не понимаю, зачем ты опять вмешиваешься в мою жизнь, но ты сам однажды показал мне это место. И сказал: “Некоторые иностранки приходят к этой воде, чтобы утонуть”.

– Я, сахиб? – Таи, изумленный, зловонный, невинный. – Да у вас от горя помутился рассудок! Откуда мне знать такие вещи?

А после того, как тело, распухшее, опутанное водорослями, вытащили лодочники с застывшими лицами, Таи подплыл туда, где швартовались шикары, и поведал тамошним людям, которые шарахались от вони, скорее подобающей больному дизентерией волю: “Он во всем винит меня, только вообразите! Таскает сюда распутных европейских женщин, а я должен отвечать, когда они прыгают в озеро!.. И откуда, спрашивается, он знал, где нужно искать? Да-да, спросите-ка его, спросите носача Азиза!”

Ильзе оставила записку. Там значилось: “Я этого не хотела”.

Я ничего не проясняю; о событиях, которые слетают с моих уст как попало, искаженные то спешкой, то пристрастием, пускай судят другие. Теперь приступлю прямо к делу и скажу, что в долгую суровую зиму 1918–1919 года Таи захворал, подцепил жестокую кожную болезнь, сходную с той, что в Европе называют “королевским недугом”³⁰, но отказался пойти к доктору Азизу и лечился у местного гомеопата. А в марте, когда на озере растаял лед, в просторном шатре, воздвигнутом у дома помещика Гхани, была сыграна свадьба. По брачному контракту Адаму Азизу полагалась порядочная сумма, благодаря которой молодые могли купить дом в Агре, приданое включало в себя, по особой просьбе доктора Азиза, некую изувеченную простыню. Молодые сидели на помосте, застывшие, увешанные гирляндами, а гости проходили один за другим и бросали рупии им на колени. Этой ночью мой дед застелил простыней

²⁹ Бегам (перс.) – госпожа.

³⁰ Королевский недуг – золотуха. В средневековой Европе существовало поверье, будто вылечить человека от золотухи могут только короли – наложением рук.

с прорезью ложе, на которое возлег с юной женой, и наутро холстина была украшена тремя каплями крови, образовавшими небольшой треугольник. Утром простыню вывесили, и после церемонии свершения брака лимузин, нанятый помещиком, отвез деда и бабуку в Амритсар, где им предстояло сесть на приграничный почтовый. Горы собрались в кружок и глазели на деда, который уезжал из дому в последний раз. (Однажды он вернется в эти края, но больше не покинет их.) Азизу показалось, будто старый лодочник стоит на берегу и смотрит, как они проезжают, – но он, наверное, ошибся: ведь Таи был болен. Вздувшийся пузырем на вершине храм Шанкарачарьи, который мусульмане стали называть Тахт-э-Сулайман, или Престол Соломона, проводил их вполне равнодушно. По-зимнему голые тополя и занесенные снегом поля шафрана вились вдоль дороги, машина катила на юг, и в ней на заднем сиденье – старый кожаный чемоданчик, в котором, среди прочих вещей, лежали стетоскоп и простыня. Доктор Азиз чувствовал в желудке пустоту, словно он сделался невесомым.

Или летел в бездну.

(...А теперь меня выбрали привидением. Мне девять лет, и вся наша семья – отец, мать, Медная Мартышка и я – гостит у дедушки с бабушкой в Агре. Дети – я в их числе – затеяли обычное новогоднее представление, а меня выбрали призраком. И потому украдкой, чтобы не выдать тайны предстоящего спектакля, я рыскаю по дому в поисках призрачного одеяния. Деда нет дома, он посещает больных. Я проник в его комнату. Там, на комод, стоит старый сундук, пыльный, покрытый паутиной, но незапертый. А внутри – дар в ответ на мои молитвы. Простыня, да какая – с уже прорезанной дыркой! Вот она, в кожаном чемоданчике, запихнутом в этот сундук, под старым стетоскопом и покрытой плесенью баночкой мази “Викс”... явление простыни в нашем спектакле произвело подлинную сенсацию. Едва увидев ее, дед с воплем вскочил. Он выбежал на подмости и тут же, перед всеми, лишил меня призрачного облачения. Бабушкины губы были так плотно сжаты, что, казалось, исчезли совсем. И оба они, один – громыхая басом всеми забытого лодочника, другая – выражая свою ярость исчезновением губ, превратили ужасное привидение в плачущего, совершенно потерянного малыша. Я удрал, я улепетнул, я сбежал на маленькое кукурузное поле, так и не поняв, что произошло. Я сидел там – может, на том самом месте, где сидел Надир Хан! – несколько часов, повторяя снова и снова, что никогда больше не стану открывать запретные сундуки, хотя и ощущая некоторую обиду: ведь, если уж на то пошло, сундук вовсе и не был заперт. Но их ярость подсказала мне, что простыня эта имела какое-то важное значение.)

Меня прервала Падма – принесла еду, но не поставила на стол, а принялась шантажировать: “Уж коли ты все время портишь глаза этой писаниной, мог бы хоть мне почитать”. И так, я был вынужден спеть песенку за ужин, но, может быть, наша Падма на что-нибудь да сгодится, ведь невозможно избежать ее критических суждений. Особенно бесят Падму мои замечания насчет ее имени. “Да что ты знаешь, городской юнец? – кричит она и рубит ладонью воздух. – В моей деревне нет никакого позора носить имя в честь Богини Навоза. Так и напиши, что ты неправ, целиком и полностью”. Исполняя желание моего лотоса, я и включаю ниже краткое славословие навозу.

Навоз, дарующий плодородие, заставляющий колоситься поля! Навоз, из которого, пока он еще свежий и влажный, лепят лепешки и продают деревенским строителям, а те укрепляют им стены саманных домишек! Навоз, что является в мир из задней части коровы и проходит долгий путь, прежде чем обнаружить свою божественную природу! О да, я был неправ, мое суждение предвзято, несомненно, из-за того, что его зловонные запахи оскорбляли мой чувствительный нос – как чудесно, как невыразимо прелестно быть названной в честь Подательницы Навоза!

...6 апреля 1919 года священный город Амритсар весь провонял (божественный, Падма, небесный запах!) калом. И, может быть, эта (прекрасная!) вонь не оскорбляла нос моего деда – ведь кашмирские крестьяне, как говорилось выше, латали навозом прохудившиеся стены.

Даже в Шринагаре торговцы с тележками, полными круглых лепешек навоза, были обычным зрелищем. Но та материя была подсушенной, приглушенной, полезной. Навоз в Амритсаре был свежим и (что хуже) обильным. И был он не только коровьим. Он исходил из крупов коней, впряженных в оглобли двуколок, телег и повозок; да и мулы, и люди, и псы тоже отвечали зову природы, сливаясь в единое братство дерьма. Впрочем, и коровы там были: их священные стада бродили по пыльным улицам, и каждое отмечало, испражняясь, свою территорию. А мухи! Этот Враг Общества Номер Один целыми стаями перелетал, жужжа и ликуя, с одной дымящейся кучи на другую, и везде отдавал должное обильным дарам, и везде откладывал яйца. Люди кишели в городе наподобие мух. Доктор Азиз смотрел из гостиничного окна, как джайн³¹ с маской на лице подметает перед собой дорогу метлой из веток, чтобы не наступить на муравья или даже на муху. Пряные, сладкие запахи исходили от тележек уличных торговцев. “Горячие пакора, пакора горячие!”³² Европейская женщина покупала шелка в лавке через дорогу, и мужчины в тюрбанах глазели на нее. У Назим – теперь уже Назим Азиз – ужасно болела голова; впервые она пожаловалась дважды на одно и то же недомогание, вероятно, жизнь за пределами тихой долины выбила ее из колеи. У ее кровати быстро пустел кувшин свежей лимонной воды. Азиз стоял у окна и вдыхал в себя город. Башенка Золотого Храма³³ блестела на солнце. Однако нос у Адама чесался: что-то было не так.

Крупный план правой руки моего деда: ногти, суставы, пальцы – все неожиданно большое. Кустики рыжих волос на тыльной стороне ладони. Большой и указательный пальцы сомкнуты, их разделяет лишь толщина бумаги. Короче: мой дед держит листовку. Ему сунули ее в руку (тут мы дадим общий план – любому жителю Бомбея известны киношные термины), когда он входил в вестибюль гостиницы. Уличный мальчишка проскользнул во вращающуюся дверь, роняя по пути листовки, а чапраси³⁴ ринулся вслед за ним. Безумные обороты двери, кругом-и-кругом – и вот рука чапраси тоже взывает к крупному плану, большой палец тоже прижат к указательному, их разделяет лишь ухо мальчишки. Юного сеятеля подметных листовок выставляют вон, но мой дед не расстается с посланием. Теперь, глядя из окна, он видит его же на противоположной стене, и на минарете мечети, и в набранном крупным шрифтом заголовке газеты под мышкой разносчика. Листовка-газета-мечеть-и-стена кричат: “Хартал!” Что значит буквально: день траура, бездействия, тишины. Но перед нами Индия в зените славы Махатмы, когда даже язык повиновался указаниям Ганди-джи³⁵, и это слово обрело под его влиянием новый смысл. “Хартал – 7 апреля”³⁶, – вторят друг другу мечеть-газета-стена-и-листовка, ибо Ганди постановил, что вся Индия в этот день должна замереть. Скорбеть вполне мирно, оплакивая продолжающееся присутствие англичан.

– Не понимаю, при чем тут хартал: ведь никто не умер, – всхлипывает Назим. – Почему не ходят поезда? Надолго мы тут застряли?

Доктор Азиз замечает на улице бравых, подтянутых молодых людей и думает: индийцы сражались за британцев, многие повидали мир, они испорчены за границей. Их нелегко будет

³¹ Джайн – последователь джайнизма, религиозно-философского учения, основоположником которого считается Вардхамана Махавира (599–572 гг. до н. э.), известный также под именем Джайна (“Победитель”). Одним из главных признаков правильного поведения является строгое соблюдение принципа ненасилия, запрещающего причинять вред в любой форме всякому живому существу.

³² Пакора – лепешка или пирожок из гороховой муки.

³³ Золотой Храм – главное святилище сикхов, выстроенное в Амритсаре в 1588 г. При Моголах был разрушен, но в начале XIX в. восстановлен и покрыт медными позолоченными пластинами (отсюда само название “Золотой Храм”).

³⁴ Чапраси – слуга, посыльный.

³⁵ Мохандас Карамчанд Ганди (1869–1948) в 1918–1919 гг. приобретает решающее влияние как внутри партии Индийский национальный конгресс, так и в развернувшемся в тот период по всей стране национально-освободительном движении в целом.

³⁶ Хартал – букв. “траур по умершим”. В марте 1919 г. Ганди призвал народ к проведению “всеиндийского хартала” – прекращению работ на фабриках, заводах и в учреждениях, закрытию лавок и магазинов, учебных заведений и т. д. С этих пор слово “хартал” употребляется прежде всего в значении “забастовка, стачка”.

загнать обратно в старый мир. Напрасно британцы пытаются перевести назад стрелки часов. “Акт Роулетта³⁷ не следовало утверждать”, – бормочет он.

– Что еще за рулет? – причитает Назим. – По мне, так все это страшная чепуха.

– Против политической агитации, – поясняет Азиз и снова погружается в свои мысли. Таи когда-то сказал: “Кашмирцы – особенные. Они, например, трусы. Дай кашмирцу в руки ружье – и оно, если выстрелит, то по чистой случайности. У парня так и не хватит духу спустить курок. Мы не то, что индусы, те вечно дерутся”. Азиз не может выкинуть Таи из головы, он не чувствует себя индийцем. К тому же Кашмир – не просто часть империи, а независимое княжество. Он не уверен, касается ли его хартал, объявленный листовкой-мечетью-стеной-газетой, хотя Азиз и находится сейчас на оккупированной территории. Он отворачивается от окна...

И видит, как Назим рыдает в подушку. Жена часто плачет с тех пор, как он попросил ее во вторую ночь немного двигаться. “Двигаться куда? – спросила она. – Двигаться как?” Он смутился: “Я хотел сказать – двигайся как женщина...” Она завизжала в страхе: “Боже мой, за кого я вышла замуж? Вот они, мужчины, побывавшие в Европе! Встречаются там с ужасными женщинами, а потом хотят, чтобы и мы стали такими же, как те! Послушай, доктор-сахиб, муж ты мне или нет, но я тебе не какая-нибудь... непотребная тварь”. Эта битва, которую мой дед так никогда и не выиграл, задала тон всему их браку, и тот вскоре стал ареной непрерывных сокрушительных войн, настолько опустошающих, что юная девушка, скрытая за простыней, и стеснительный молодой доктор быстро превратились в двух незнакомцев, чужих друг другу... “Что на этот раз, жена?” – спрашивает Азиз. Назим прячет лицо в подушку. “Как это – что? – глухо мычит она. – Ты еще спрашиваешь? Сам ведь хочешь, чтобы я ходила голая перед чужими мужчинами”. (Азиз велел ей снять лицевое покрывало.)

Доктор пытается втолковать: “Рубашка скрывает тебя от шеи до запястий и до колен. На ногах – шаровары до щиколоток. Остаются ступни да лицо. Жена, разве есть в твоём лице и ступнях что-то неприличное?” Но она стенает: “Все вокруг увидят не только это! Они увидят, как стыдно мне, стыдно-стыдно!”

И вот – происшествие, подводящее нас к миру меркурохрома... Азиз, взбеленившись, вытаскивает из чемодана жены все лицевые покрывала, бросает их в жестяную коробку для мусора с портретом гуру Нанак³⁸ на боковой стороне и поджигает. Огонь, застав его врасплох, поднимается столбом, лижет занавески. Адам бросается к двери, вопит, зовет на помощь, а дешевые шторы пылают... носильщики-постояльцы-прачки влетают в комнату, бьют по горячей ткани пыльными тряпками, полотенцами, чужим бельем. Приносят ведра с водой, огонь потухает, Назим, скорчившись, прячется в постели, пока человек тридцать пять сикхов, индусов, неприкасаемых толпятся в полной дыма комнате. Наконец все они уходят, и Назим проносит две фразы перед тем, как упрямо сомкнуть уста:

– Ты сумасшедший. Я хочу еще лимонной воды.

Мой дед открывает окна, поворачивается к молодой жене: “Дым нескоро выветрится, пойду прогуляюсь. Ты со мной?”

Губы крепко сжаты, глаза прищурены, яростно, однократно качнулась голова в отрицательном жесте, и вот мой дед один выходит на улицу. Напоследок бросает: “Забудь, что ты была хорошей кашмирской девушкой. Подумай, как тебе стать современной индийской женщиной”.

³⁷ 18 марта 1919 г. правительство Британской Индии издало специальный законодательный акт, известный как “Закон Роулетта”. Закон этот, направленный против любой формы борьбы за освобождение Индии, предусматривал право властей разгонять собрания и митинги, арестовывать и ссылать без суда и т. д.

³⁸ Гуру Нанак (1469–1539) – основатель и первый вероучитель сикхизма. Учение Нанак провозглашало равенство всех людей независимо от религиозной принадлежности и единство всех тех, кто верит в единого бога – вне зависимости от того, как они этого бога именуют.

...А в военном городке, в штаб-квартире Британской армии, бригадир Р. Е. Дайер³⁹ фабрирует себе усы.

Наступило 7 апреля 1919 года, и великий замысел Махатмы принял в Амритсаре чудовищные очертания. Магазины закрылись, железнодорожный вокзал бездействует, но взбунтовавшаяся толпа берет их штурмом. Доктор Азиз с кожаным чемоданчиком в руке мечется по улицам, оказывая помощь, где возможно. Затоптанные остаются лежать там, где упали. Он перевязывает раны, обильно смазывая их меркурохромом: от этого они кажутся еще более кровавыми, но лекарство, по крайней мере, обеззараживает их. Наконец доктор возвращается в гостиничный номер в одежде, пропитанной красной жидкостью, и Назим, увидев его, впадает в панику:

– Дай помощи тебе, дай помощи, о Аллах, за кого же я вышла замуж! Вольно ж бродить по задворкам и драться со всякой швалью!

Подбегает со смоченными в воде ватными тампонами.

– И почему ты не можешь быть порядочным доктором, как все, и лечить серьезные болезни? О боже, да ты весь в крови! Сядь же, сядь, я тебе промою раны!

– Это не кровь, жена.

– Я что, слепая, по-твоему? Что ж ты делаешь из меня дуру, даже когда на тебе места живого нет? Разве жена не имеет права хотя бы обмыть тебе кровь?

– Да это меркурохром, Назим. Такое красное лекарство.

Назим – а она уже развернула бурную деятельность, хватаясь за тряпки, сооружая тампоны – застывает на месте.

– Ты это делаешь нарочно, – говорит она, – чтобы выставить меня душой. А я не дура. Я прочла несколько книг.

Наступает 13 апреля, а они все еще в Амритсаре. “Эта заварушка еще не кончилась, – сообщает Адам Азиз своей жене Назим. – Нам нельзя уезжать, видишь ли: могут опять понадобиться врачи”.

– Значит, нам сидеть здесь до скончания века?

Он трет рукою нос.

– Нет, боюсь, все свершится скорее.

В этот день улицы внезапно заполонила толпа, все двигались в одну сторону, плевать они хотели на военное положение, введенное Дайером. Адам говорит своей жене Назим:

– Похоже, они собираются устроить митинг. Не миновать стычки с войсками. Митинги запрещены.

– Но тебе-то зачем идти? Почему ты не подождешь, пока тебя позвуют?

...Огороженный участок земли может быть чем угодно – от пустыря до парка. Самый обширный такой участок в Амритсаре называется Джаллианвала Багх. Трава там не растет. Повсюду валяются булыжники, консервные банки, стекла и другие предметы. Чтобы попасть туда, нужно пройти по очень узкому переулку между двумя зданиями. 13 апреля тысячи и тысячи индийцев протискиваются в этот переулок. “Это мирный митинг протеста”, – сообщает кто-то доктору Азизу. Толпа выносит его в конец переулка. Чемоданчик из Гейдельберга зажат в правой руке. (Можно обойтись без крупного плана.) Он, я знаю, очень напуган, потому что нос у него чешется сильнее, чем когда-либо, но хорошо обучен своему ремеслу и, выбросив страхи из головы, выходит на пустырь. Кто-то произносит зажигательную речь. Торговцы снуют в толпе, предлагая чанну⁴⁰ и сладости. Над полем столбом вьется пыль. Нигде, насколько может видеть мой дед, вроде бы нету ни головорезов, ни смутьянов. Несколько сикхов расте-

³⁹ Р. Е. Дайер – бригадир (затем – генерал) британской службы. В 1919 г. – комендант Амритсара, устроивший 13 апреля кровопролитие на Джаллианвала Багх. Старейшинами общины сикхов осужден на смерть.

⁴⁰ Чанна – турецкий горох.

лили скатерть на земле, расселись в кружок и принялись за еду. По-прежнему воняет навозом. Азиз проникает в самую гущу толпы, когда бригадир Р. Е. Дайер во главе пятидесяти отборных солдат приближается ко входу в проулок. Он военный комендант Амритсара, важная персона, куда там: кончики его нафабранных усов топорщатся от важности. Когда пятьдесят один человек строевым шагом проходят проулок, в носу у моего деда уже не просто чешется, а невыносимо свербит. Пятьдесят один человек входят на пустырь и занимают позицию: двадцать пять человек справа от Дайера и двадцать пять – слева; Адам Азиз перестает замечать что-либо вокруг, ибо в носу свербит уже сверх всякой меры. Когда бригадир Дайер произносит команду, на деда нападает неудержимый чих. “А-апчхи!” – бухает он, как из пушки, и валится вперед, теряя равновесие, увлекаемый вниз собственным носом, и тем самым спасает себе жизнь. “Доктори-атташе” раскрывается, падает наземь; бутылочки, баночки с линиментом, шприцы разлетаются, катаются в пыли. Доктор ползает под ногами у людей, яростно шарит по земле, старается спасти медикаменты, пока их не растоптали. Раздается сухая дробь – словно зубы клещами в зимний холод, – и кто-то падает на него сверху. На рубашке расплываются красные пятна. Теперь уже раздаются крики и вой, но странное клещанье не смолкает. Еще и еще люди, будто споткнувшись, падают сверху на деда. Он начинает опасаться, не сломают ли ему спину. Замок чемоданчика упирается в грудь, от него остается ужасный, доселе невиданный синяк, который не сошел и после смерти деда, настигшей его многие годы спустя на вершине Шанкарачары, или Тахт-э-Сулайман. Нос его притиснут к бутылочке с красными пилюлями. Клещанье прекращается, раздаются голоса людей, птичьи крики. Но шагов не слышно совсем. Пятьдесят бойцов бригадира Дайера опускают автоматы и уходят прочь. Они выпустили в общей сложности 1650 патронов в безоружную толпу. Из них 1616 попали в цель, кого-то убив или ранив. “Хорошая стрельба, – похвалил Дайер своих людей. – Славно поработали”.

Когда этим вечером мой дед явился домой, бабка изо всех сил старалась вести себя как современная женщина, чтобы угодить ему, и ее ни капельки не смутил его вид.

– Вижу, ты опять пролил меркурохром, медведь неуклюжий, – ласково проговорила она.

– Это кровь, – отозвался дед, и бабка упала в обморок.

Когда дед привел ее в чувство с помощью нюхательной соли, она спросила:

– Ты ранен?

– Нет, – ответил он.

– Но где же ты был, ради бога?

– Только не на земле, – сказал он и весь затрясся в ее объятиях.

Должен признаться, и моя рука задрожала не только из-за описываемых событий, но и потому, что я заметил тончайшую, с волосок, трещинку у себя на запястье, прямо под кожей... Неважно. Все мы обязаны смерти жизнью. Так позвольте же мне закончить мой рассказ неподтвержденным слухом о том, будто бы лодочник Таи, который избавился от злокачественной золотухи вскоре после того, как мой дед покинул Кашмир, дожил до 1947 года, а тогда (гласит история) старика ужасно разозлила распря между Индией и Пакистаном из-за его родной долины, и он направился в Чхамб специально, чтобы встать между враждующими сторонами и поучить их уму-разуму⁴¹. Кашмир для кашмирцев – вот какую линию он проводил. Естественно, его застрелили. Оскар Любин, возможно, одобрил бы этот риторический жест; Р. Е. Дайер похвалил бы его убийц за меткую стрельбу.

Пора в постель. Падма ждет, и мне нужно немного тепла.

⁴¹ Индо-пакистанский конфликт из-за Кашмира, продолжающийся до сих пор, начался 23–26 сентября 1947 г. вторжением пакистанских войск на территорию княжества.

“Плюнь-попади”

Пожалуйста, поверьте: я разваливаюсь на части.

Это не метафора, не увертюра к какой-нибудь мелодраматической, зубодробительной, дурно пахнущей попытке бить на жалость. Я просто хочу сказать, что начинаю растрескиваться вдоль и поперек, будто старый кувшин: мое бедное тело, ни на что не похожее, уродливое, битое-перебитое историей, которой слишком много, подвергнутое дренированию сверху и снизу, изувеченное дверями, разможенное плевательницами, начало расходиться по швам. Короче говоря, я распадаюсь, пока еще медленно, хотя появились некоторые признаки ускорения. Я только хочу, чтобы вы приняли тот факт (я его уже принял), что в итоге я раскрошусь на (примерно) шестьсот тридцать миллионов частичек безмянной и, безусловно, беспамятной пыли. Вот почему я решил довериться бумаге до того, как все позабуду. (Мы – нация забывающих.)

Бывают минуты, когда меня охватывает ужас, но они проходят. Панический страх, словно пускающее пузыри морское чудище, всплывает, чтобы глотнуть воздуха, бурлит на поверхности, но неизменно возвращается в глубины. Для меня важно оставаться спокойным. Я жую бетель с орехами, отхаркиваюсь и плюю в сторону дешевой медной чаши, играя в старинную игру “плюнь-попади”, игру Надир Хана, которой тот научился от стариков в Агре... нынче вы можете купить “жгучие паны”⁴², где кроме бетелевой массы, от которой краснеют десны, имеется еще и утеха кокаина, завернутая в лист. Но это бы означало жульничество.

...От исписанных мною страниц поднимается запах чатни⁴³, который ни с чем не спутаешь. Так что хватит ходить вокруг да около: я, Салем Синай, обладающий самым утонченным органом обоняния, какой только знала история, посвящаю свои последние дни серийному производству консервов. И вы раскрываете в изумлении рот: “Повар? – восклицаете в ужасе. – Простой хансама⁴⁴, прислуга? Как это может быть?” Но это правда: такое мастерство, такая одаренность и в приготовлении пищи, и в связывании слов бывает нечасто, а мне она досталась. Вы изумлены, но, видите ли, я не один из тех кухонных парней, которым вы платите по 200 рупий в месяц, я сам себе господин и тружусь под мигающим оком моей собственной шафранно-зеленой неоновой богини. И мои фруктовые и овощные консервы так или иначе связаны с моей же ночной писаниной – днем среди банок с маринадами, ночью среди этих листов я посвящаю все свое время великой задаче сохранения. Память, как и плоды, нужно спасти от порчи, приносимой тиканьем часов.

Но Падма стоит у моего плеча, торопит обратно в мир линейного повествования, во вселенную того-что-будет-дальше. “С такой скоростью, – жалуется Падма, – тебе стукнет двести лет, пока ты доберешься до собственного рождения”. Она притворяется безразличной, подходит ко мне, словно невзначай выставляя бедро, но меня не проведешь. Теперь я знаю: что бы там Падма ни говорила, а ее задело. Сомнения нет, моя история держит ее за горло – Падма вдруг перестала пилить меня: шел бы, мол, домой, принял бы ванну, снял бы пропахшую уксусом одежду, оставил бы хоть на минуту погруженный в сумерки консервный завод, где запахи специй навсегда въелись в воздух... нынче моя навозная богиня ставит раскладушку в углу конторы и готовит мне еду на двух почерневших газовых горелках, лишь иногда прерывая угорами мое озаренное угловой люминесцентной лампой писание: “Ты бы хоть немного подвигался, иначе умрешь еще не родившись”. Поступаясь законной гордостью умелого рассказчика,

⁴² Пан – бетель, приготовленный для жевания (в свернутый конвертиком лист бетеля кладут толченые орехи арековой пальмы и жженую известь).

⁴³ Чатни – соус-приправа, приготовленный из овощей и/или фруктов; неизменный ингредиент индийской кухни.

⁴⁴ Хансама (хансама) – повар, буфетчик, домоправитель.

я стараюсь просветить ее. “Вещи – даже люди – пропитывают друг друга, – объясняю, – как вкус при готовке. Самоубийство Ильзе Любин, к примеру, пропитало старого Адама, лужей хлюпало внутри него, пока он не увидел Бога. Так же точно, – произношу я нараспев самым серьезным тоном, – прошлое просочилось в меня... и мы не можем от него отделаться...” Она пожимает плечами, отчего ее грудь приятно кольшется, и обрывает меня: “А по-моему, так это – дурацкий способ рассказывать историю собственной жизни, – громко заявляет она, – раз ты еще даже не добрался до того, как твой отец встретил твою мать”.

...И Падма, несомненно, пропитывает меня тоже. История изливается из моей растрескавшейся плоти, а мой лотос мало-помалу просачивается внутрь, со всей своей приземленностью, парадоксальными суевериями, неумной любовью к вымыслу, так что сейчас уместно будет рассказать историю Миана Абдуллы. Обреченная птичка-колибри – легенда нашего времени.

...А Падма – женщина великодушная: она не оставляет меня в эти последние дни, хотя я мало что могу для нее сделать. Да, это именно так – и опять же уместно упомянуть об этом прежде, чем приступить к рассказу о Надир Хане, – сейчас я не мужчина. Несмотря на многочисленные и разнообразные прелести Падмы, вопреки всем ее ухищрениям я не могу просочиться в нее, даже когда она кладет свою левую ногу на мою правую, а правой ногой обвивает мне поясницу, даже когда склоняет свое лицо к моему и нежно воркует, даже когда шепчет мне на ухо: “Теперь, когда ты покончил с писаниной, поглядим, не поднимется ли другой твой карандашик!” – нет, что бы она ни делала, я никак не могу попасть в ее плевательницу.

Хватит признаний. Склоняясь перед неизбежным, покорствуя Падминому давлению, ее пристрастия к “тому-что-будет-дальше” и памятуя о том, что мне отпущен весьма ограниченный срок, я оставляю позади меркурохром, совершаю прыжок и приземляюсь в 1942 году. (В самом деле, уже пора свести друг с другом моих родителей.)

Похоже, что в этом году, в конце лета, мой дед доктор Адам Азиз заразился оптимизмом в самой опасной форме. Разъезжая на велосипеде по Агре, он насвистывал пронзительно, фальшиво, но безмятежно. Он, безусловно, не был одинок, потому что, несмотря на энергичные старания властей подавить эту заразу, в означенный год она распространилась по всей Индии, и пришлось принять самые крутые меры, чтобы справиться с ней. Старики в магазинчике, где продавали пан, в самом конце Корнуоллис-роуд, жевали бетель и подозревали какую-то ловушку. “Я прожил вдвое больше, чем следовало, – сказал самый старший, у которого голос потрескивал, словно старый радиоприемник, потому что десятки прожитых лет терлись друг о друга подле его голосовых связок, – и никогда не видел столько веселья в такие скверные времена. Всех будто бес попутал”. Действительно, микроб оказался упорным – сама погода могла бы погубить заразу в зародыше, ибо было очевидно, что грядет засуха. Трескалась земля. Пыль съедала края дорог, а в иные дни на перекрестках, засыпанных щебенкой, разверзались зияющие провалы. Жующие бетель старики у лавки, где продавали пан, заговорили о недобрых предзнаменованиях; развлекаясь игрой “плюнь-попади”, они рассуждали о том, как из разъятой на части земли полезет бесчисленное безымянное бог-весть-что. Вроде бы у какого-то сикха из мастерской по ремонту велосипедов в полуденный зной слетел с головы тюрбан, и его волосы без всякой на то причины встали дыбом на голове⁴⁵. И, если вернуться к прозе жизни, воды уже не хватало до такой степени, что молочники перестали разбавлять молоко... Где-то далеко снова разворачивалась мировая война. В Агре нарастал зной. А мой дед насвистывал. Старики из лавки, где продавали пан, считали этот свист признаком дурного вкуса, при сложившихся-то обстоятельствах.

⁴⁵ Принадлежность к религиозной общине сикхов (хальсе) распознается по пяти внешним признакам, которые называются “пять К”. Первый из них – кеш (волосы): сикх никогда не стрижет ни волос, ни усов, ни бороды и носит на голове цветной тюрбан. Остальные “К”: кангха – гребень, помогающий уложить волосы; кара – железный браслет на правом запястье; качх – короткие штаны и киргап – меч, сабля.

(И я, как те старики, харкаю, отплеываюсь и возвышаюсь над трещинами.)

Верхом на велосипеде, привязав к багажнику кожаный чемоданчик-атташе, мой дед ехал и насвистывал. Несмотря на чесотку в носу, губы складывались в улыбку. Несмотря на то, что синяк на груди так и не сошел за двадцать три года, дед пребывал в прекрасном расположении духа. Воздух, проникая сквозь его губы, сам преобразался в звук. Насвистывал он старую немецкую мелодию “Танненбаум”.

Эпидемию оптимизма вызвал один-единственный человек, чье имя, Миан⁴⁶ Абдулла, употребляли только газетчики. Для всех остальных он был Колибри, Жужжащая Птичка; невероятно, чтобы мог появиться на свете такой человек, и все же он существовал. “Фокусник, ставший чародеем, – писали газетчики, – Миан Абдулла явился из знаменитого квартала фокусников в Дели и стал надеждой ста миллионов индийских мусульман”. Колибри был основателем, председателем, объединителем и вдохновителем Свободного Исламского Собрания, и в 1942 году шатры и трибуны были воздвигнуты на главной площади Агры, где предполагалось провести второй ежегодный съезд партии. Мой дед, которому стукнуло пятьдесят два года, который поседел от прожитых лет и прочих печалей, начинал насвистывать, проезжая через эту площадь. Вот он бойко виляет на своем велосипеде, пролагая путь среди коровьих лепешек и детишек... а в другое время, в другом месте он сказал своей подруге, рани⁴⁷, правительнице Куч Нахин: “Я начинал как кашмирец, не слишком приверженный исламу. Потом получил синяк на груди, превративший меня в индийца. Я и сейчас не слишком ревностный мусульманин, но я – за Абдуллу. Его борьба – моя борьба”. Глаза деда сохранили голубизну кашмирских небес... вот он приехал домой, и хотя взгляд еще светился довольством, свист прекратился, ибо во дворе, полном злобных гусей, встретило его хмурое лицо моей бабушки, Назим Азиз, которую он так неосмотрительно полюбил по частям и которая затем собралась воедино и превратилась в грозную, величественную матрону, каковой навсегда и осталась: к ней давно уже пристало весьма любопытное прозвание Достопочтенной Матушки.

Она прежде времени постарела, расплылась; две огромные бородавки, ведьмины соски, выросли у нее на лице, и она жила за стенами невидимой крепости, ею самой и построенной, за чугунной оградой традиций и непререкаемых правил. В том же году Адам Азиз заказал большие, в полный рост, фотографии членов своей семьи, чтобы повесить в гостиной; три девочки и два мальчика позировали фотографу, но Достопочтенная Матушка взбунтовалась, когда пришел ее черед. Фотограф попытался снять ее, застав врасплох, но бабушка вырвала у него из рук камеру и разбила об его же череп. Фотограф, к счастью, выжил, но нигде на свете нет ни единой фотографии моей бабки. Ее-то уж не заманишь внутрь маленькой черной коробочки. Хватит того, что она живет в неприкрытом, гололицем бесстыдстве – и речи быть не может о том, чтобы ее в таком виде увековечили.

Возможно, именно вынужденная необходимость обнажать лицо, вкупе с непрекращающимися требованиями Азиза, чтобы супруга двигалась под ним, привели ее на баррикады, и домашние правила, установленные ею, представляли собой столь непроницаемую систему самообороны, что Азиз после многочисленных бесплодных попыток более-менее махнул рукой, отказавшись штурмовать многие из ее рavelинов и бастионов, и позволил большой, раздувшейся паучине царить в избранных ею областях. (Возможно, то была вовсе и не система самозащиты, но средство защититься от себя самой.)

Среди того, чему вход был закрыт, находились и любые разговоры о политике. Когда доктор Азиз желал поговорить о подобных вещах, он навещал свою подругу рани, а Достопочтенная Матушка дулась, правда, не слишком сильно – ведь она знала, что визиты эти означали ее победу.

⁴⁶ Миан – господин, почтенный, уважаемый.

⁴⁷ Рани (букв. “королева”) – почетный титул, присваиваемый женщине.

Два сердца имело ее королевство: кухню и кладовку. В первую я никогда не входил, но помню, как заглядывал в щелку меж запертых на замок раздвижных дверей кладовки, за которыми простирался загадочный мир – подвешенные проволочные корзины, прикрытые от мух полотенцами, знакомые мне банки с гуром⁴⁸ и другими сладостями, закрытые лари с аккуратно прилаженными квадратными ярлычками, где хранились орехи, репа и мешки с зерном, гусиные яйца и деревянные щетки. Кладовка и кухня были ее неотчуждаемой территорией, и бабка яростно защищала их. Когда она носила последнего ребенка, мою тетку Эмералд, муж предложил избавить ее от тяжелой обязанности присматривать за кухаркой. Она ничего не сказала, но на следующий день, когда Азиз подошел к кухне, появилась оттуда с тяжелым чугуном в руках и загородила ему дорогу. Бабка была толстая, да еще и беременная, так что пройти не было никакой возможности. Адам Азиз нахмурился: “Что это, жена?” И моя бабка ответила: “Это, как его, очень тяжелый горшок, и если я хоть раз увижу тебя здесь, как его, суну туда твою голову, добавлю чуточку дахи⁴⁹, и выйдет, как его, корма⁵⁰”. Не знаю, откуда привязался к бабке этот лейтмотив “как его”, но с годами он вторгся в ее речь все чаще и чаще. Мне хочется думать, что то был бессознательный вопль о помощи... вопрос, поставленный на полном серьезе. Достопочтенная Матушка хотела нам намекнуть, что, несмотря на свой внушительный вид и могучие формы, она плывет по миру без руля и ветрил. Она не знала, видите ли, как что называется.

...А за обеденным столом она царила единовластно, как прежде. На стол не ставили никакой еды, не раскладывали тарелок. Карри⁵¹ и разная посуда располагались на низеньком столике под ее правой рукой; Азиз и дети ели то, что она подавала. Такова была сила обычая, что, даже когда супруг страдал запором, она не позволяла ему самому выбирать себе пищу и не прислушивалась ни к его пожеланиям, ни к чужим советам. Крепость неколебима, даже когда среди вассалов и происходят непредусмотренные волнения.

За все время долгого затворничества Надир Хана, весь тот срок, когда дом на Корнуоллис-роуд посещали молодой Зульфикар, влюбленный в Эмералд, и преуспевающий коммерсант Ахмед Синай, торгующий прорезиненными плащами и кожей, который так сильно обидел мою тетку Алию, что та затаила злобу на целых двадцать пять лет, а потом самым жестоким образом расквиталась с моей матерью, железная хватка Достопочтенной Матушки ничуть не ослабела, и еще до того, как приход Надира положил начало великому молчанию, Адам Азиз попытался эту хватку ослабить и вступил в сражение со своей женой. (Все сказанное поможет показать, сколь глубоко был он поражен оптимизмом.)

...В 1932 году, за десять лет до описываемых событий, он взял в свои руки воспитание детей. Достопочтенная Матушка переполошилась, но традиция отводила отцу эту роль, так что возразить она не могла. Алие было одиннадцать лет, второй дочери, Мумтаз, почти девять. Двум мальчикам, Ханифу и Мустафе, восемь и шесть, а маленькой Эмералд не исполнилось и пяти. Достопочтенная Матушка поверяла свои страхи домашнему повару Дауду: “Он забивает детям головы чужими языками, как его, да и другим хламом тоже”. Дауд орудовал чугунами, а Достопочтенная Матушка продолжала кричать: “Так стоит ли удивляться, как его, если младшая называет себя Эмералд? По-английски, как его? Этот человек испортит мне моих детей. Не клади столько кумина⁵² в это, как его; думай больше о своей готовке и меньше лезь в чужие дела”.

⁴⁸ Гур – патока из сахарного тростника.

⁴⁹ Дахи – простокваша.

⁵⁰ Корма – мясо, обжаренное в масле и политое водой с пряностями.

⁵¹ Карри – мясо, рыба или овощи, жаренные или тушеные с пряностями.

⁵² Кумин – тмин.

Она поставила одно-единственное условие: дети должны получить религиозное воспитание. В отличие от Азиза, которого раздирали противоречия, она была крепка в вере. “У тебя есть Колибри, твоя Жужжащая Птичка, – твердила она, – а у меня, как его, Глас Божий. И звук его краше, чем, как его, жужжание этого типа”. То был один из немногих случаев, когда она заговорила о политике... а потом настал день, когда Азиз выпроводил вон наставника в вере. Большой и указательный пальцы сомкнулись на ухе маулави⁵³. На глазах Назим ее супруг подтащил бедолагу, растрепанного, со стоящей торчком бородою, к дверце в садовой стене; тут она задохнулась от возмущения, а потом завопила во весь голос, когда нога мужа приложилась к благословенным мясистым частям. Меча грома и молнии, подняв все паруса, Достопочтенная Матушка бросилась в бой.

– Недостойный ты человек, – напустилась она на мужа, – забыл ты, как его, всякий стыд! – Дети наблюдали за ссорой с безопасного расстояния, укрывшись на задней веранде. И Азиз: “Да знаешь ли ты, чему этот тип учит твоих детей?” И Достопочтенная Матушка в свою очередь вопрошала: “Что еще способен ты сотворить, дабы призвать кару, как его, на наши головы?” Азиз за свое: “Думаешь, только письму насталик⁵⁴, да?” А жена, распаяясь все пуше: “Налопаться свинины? Как его? Плюнуть на Коран?” Но доктор, повысив голос, тут же находится с ответом: “Или стиху из ‘Коровы’⁵⁵? Так ты полагаешь?”... Не желая ничего слушать, Достопочтенная Матушка доходит до высшей точки: “Выдать дочек за немцев!?” Тут она прерывается, чтобы набрать воздуха, и мой дед может наконец объяснить, в чем дело: “Он учил их ненависти, жена. Говорил, что надо ненавидеть индусов, буддистов, джайнов, сикхов и разных прочих вегетарианцев. Разве ты хочешь, женщина, чтобы твои дети ненавидели весь мир?”

– А ты разве хочешь, чтобы они росли безбожниками? – Достопочтенная Матушка уже видит, как воинства архангела Гавриила спускаются в ночи, дабы низвести ее нечестивых отпрысков в ад. Ад она представляет себе очень живо. Там жарко, будто в Раджпутане в июне, и каждого грешника заставляют выучить по семь чужих наречий... – Я даю обет, как его, – сказала моя бабка, – клянусь тебе, что ни одна крошка еды из моей кухни не достигнет твоих уст! Ни единого чапати⁵⁶, пока ты не приведешь маулави-сахиба обратно и не облобызаешь, как его, прах его ног!

Голодная война началась в тот же день и едва не стала в самом деле смертельным поединком. Верная своему слову, Достопочтенная Матушка в часы трапез протягивала мужу пустую тарелку. Доктор Азиз тут же нанес ответный удар, отказавшись питаться вне дома. День за днем пятеро детей наблюдали, как тает на глазах их отец, в то время как мать, суровая, хмурая, мрачно стережет блюда с едой. “Ты когда-нибудь совсем пропадешь? – приступала к нему заинтригованная Эмералд, но тут же прибавляла в испуге: – Только не делай этого, если не знаешь, как вернуться обратно”. На лице Азиза появились впадины, даже нос стал казаться тоньше. Тело его превратилось в поле битвы и каждый день подвергалось разрушениям. Он говорил старшей, Алии, умной девочке: “В каждой войне поле битвы терпит больше потерь, чем любая из армий. Это естественно”. Он стал нанимать рикшу, навещая больных. Хамдард, рикша, стал беспокоиться за него.

Рани Куч Нахин направила послов для переговоров с Достопочтенной Матушкой. “Неужто в Индии и без того не полно голодающих?” – спросили посланцы у Назим, и та смерила их взглядом василиска, взглядом, который уже сделался легендой. Сцепив руки на коле-

⁵³ Маулави – знаток мусульманского права, арабского и персидского языков; обычный титул преподавателя в мусульманском духовном училище (медресе).

⁵⁴ Насталик – разновидность арабско-персидской каллиграфии, употребляющейся, в частности, в Индии (для текстов урду).

⁵⁵ “Корова” – название второй суры Корана.

⁵⁶ Чапати – пресная подовая лепешка.

нях, в муслиновой дупатте⁵⁷, туго повязанной вокруг головы, она сверлила посетителей круглыми, без век, глазами, пока те не потупили взгляд. Голоса их обратились в камень, оледенели сердца – одна в комнате с чужими людьми, мужчинами, моя бабка сидела во славе, и никто не смел поднять на нее очей. “Полно голодающих, как его? – торжествующе вскричала она. – Может быть, да. А может, и нет”.

Но, по правде говоря, Назим Азиз сильно переживала: хотя голодная смерть Азиза со всей ясностью доказала бы превосходство ее понятия о миропорядке, ей вовсе не хотелось овдоветь из чистого принципа; однако из сложившейся ситуации она не видела иного выхода, как только пойти на попятный и потерять лицо, а привыкнув открывать его на людях, бабка скорей умерла бы, чем потеряла хотя бы малую его частицу.

– Скажись больной, что тебе стоит? – нашла решение Алия, умная девочка. Достопочтенная Матушка отступила согласно всем законам тактики, объявив, что у нее колики, нестерпимые колики, и слегла в постель. В ее отсутствие Алия протянула отцу оливковую ветвь в виде чашки куриного бульона. Через два дня Достопочтенная Матушка встала (впервые в жизни не пожелав, чтобы ее обследовал муж), вновь взяла власть в свои руки и, пожав плечами в знак согласия с решением дочери, как ни в чем не бывало передала Азизу еду.

С тех пор прошло уже десять лет, но и в 1942 году старики у лавки, где по-прежнему продают пан, при виде насвистывающего доктора хихикают и предаются воспоминаниям о тех днях, когда из-за жены он едва не пропал совсем, хотя и не знал, как вернуться обратно. Уже опускается вечер, а они все подталкивают друг друга локтями: “А помнишь, как...”, или: “Весь высох, как скелет на бельевой веревке! Не мог даже ездить на своем...”, или: “Говорю тебе, баба: эта женщина может делать поразительные вещи. Я слышал, будто ей снятся сны ее дочерей: она узнает, что замышляют девчонки!” Но вечер вступает в свои права, и тычки прекращаются: подходит время состязаний. Ритмично, в полной тишине, движутся челюсти, губы внезапно вытягиваются в трубочку, но из них не излетает созданный из воздуха звук. Не свист, но длинная красная струя бетелевого сока исходит из провалившихся губ и направляется с неукоснительной точностью к старой медной плевательнице. Старики дружно хлопают себя по ляжкам, нахваливают друг друга: “Вах, вах, господин!” или: “Вот это выстрел, прямо в яблочко!” Вокруг группы старцев город, скрадываемый мглой, предается бесцельным вечерним развлечениям. Дети гоняют обруч, играют в пятнашки, пририсовывают бороды к портретам Миана Абдуллы. А старики ставят плевательницу на дорогу, все дальше и дальше от стены, рядом с которой они сидят на корточках, и мечут туда все более и более длинные струи. Но плевки летят куда надо. “Ах, хорошо, хорошо, яра!” Уличные сорванцы затеяли игру: скачут взад-вперед, увертываются от красных потоков, встречают со своими пятнашками в высокое искусство “плюнь-попади”... Но вот армейская штабная машина мчится, разгоняя сорванцов... в ней бригадир Додсон, военный комендант города, погибающий от жары... и его адъютант, майор Зульфикар, подающий ему полотенце. Додсон оттирает пот с лица, сорванцы разбегаются, машина опрокидывает плевательницу. Багровая, словно кровь, жидкость с темными сгустками красной дланью застывает в уличной пыли, указуя обвиняющим перстом на сдающую свои позиции власть англичан.

Память о подпорченной плесенью фотографии (может, творении того же самого незадачливого фотографа, чьи снимки в натуральную величину едва не стоили ему жизни): Адам Азиз, пылающий в лихорадке оптимизма, пожимает руку человеку лет пятидесяти, бодрому, нетерпеливому; седая прядь пересекает его лоб едва заметным шрамом. Это – Миан Абдулла, Колибри. (“Видите, доктор-сахиб, я держусь молодцом, Ну-ка, стукните меня по животу – хотите попробовать? Давайте, давайте. Я в отличной форме...” На фотографии живот скрывают фалды белой рубашки навывпуск, а рука моего деда вовсе не сжата в кулак, но поглощена

⁵⁷ Дупатта – накидка, покрывало, шарф, которым повязывают голову.

ладонью бывшего фокусника.) А позади них женщина с кротким, благосклонным взглядом – рани Куч Нахин, которая начала уже покрываться белыми пятнами – болезнь, просочившаяся в историю и вспыхнувшая в чудовищном масштабе сразу после Независимости. . . “Я жертва, – шепчет рани сфотографированными, навеки застывшими губами, – несчастная жертва межкультурных контактов. На моей коже проступает наружу мой интернациональный дух”. Да, на фотографии запечатлена беседа: оптимисты, встретившись со своим лидером, начинают чрево вещать. Подле рани – теперь слушайте внимательно: история и генеалогия вот-вот пересекутся! – стоит немного странный юноша, пухлый, с животиком; глаза его похожи на озера стоячей воды, волосы длинные, как у поэта. Надир Хан, личный секретарь Колибри. Не будь этот парень заморожен моментальным снимком, он бы смущенно переминался с ноги на ногу. Он лепечет сквозь глуповатую застывшую улыбку: “Да, это правда, я пишу стихи. . .” Тут встречается Миан Абдулла, басит сквозь открытый рот, в котором поблескивают острые зубы: “Да еще какие стихи! Страница за страницей – без единой рифмы!..” И рани – любезным тоном: “Так вы – модернист?” Надир робко: “Да”. Какое напряжение возникает теперь на застывшей, неподвижной картинке! Какая едкая насмешка в речах Колибри: “Ничего, не беспокойтесь, искусство возродится, мы еще вспомним о нашем славном литературном прошлом!” Что это: тень или хмурая складка на секретарском челе?.. Голос Надира, шелестящий тихо-тихо с потускневшей фотографии: “Я не верю в высокое искусство, Миан-сахиб. Ныне искусство должно быть вне категорий: моя поэзия и. . . ну хоть игра ‘плюнь-попади’ одинаково ценны”. И рани, добрая женщина, обращает все в шутку: “Ну что ж, я, пожалуй, приготовлю отдельную комнату, где можно будет жевать пан и плевать в цель. У меня есть чудесная серебряная плевательница, инкрустированная лазуритом, – приходите все и попытайте счастья. Пусть даже ваши неточные плевки забрызгают стены! Это, по крайней мере, не пятна постыдной болезни”. И вот уже фотография исчерпала запас слов, вот уже я замечаю внутренним взором, что все это время Колибри смотрел на дверь, которая находится за плечом моего деда, на самом краю снимка. За дверью – история, она зовет. Колибри не терпит выйти. . . но он был среди нас, и его присутствие завязало две нити, которые протянулись через все мои дни: одна ведет в квартал фокусников, на другой подвешена история Надира – безрифменного, безглагольного поэта, и бесценной серебряной плевательницы.

“Что за чепуха, – толкует наша Падма. – Как фотография может говорить? Отдохни, ты слишком устал, у тебя мысли путаются”. Но когда я рассказываю ей, что Миан Абдулла обладал странным свойством непрерывно жужжать, не то чтобы музыкально или немусикально, но как-то механически, как жужжит мотор или динамо-машина, в это она легко верит и даже замечает рассудительно: “Ну, раз он был такой энергичный, тут нет ничего удивительного”. И снова вся обращается в слух, так что я форсирую тему и сообщаю, что жужжанье Миана Абдуллы становилось то громче, то тише, в прямой зависимости от того, сколько работы ему предстояло сделать. Иногда оно достигало таких низких нот, что ломило зубы, а когда поднималось до самой высокой, горячечной точки, у всех, кто находился поблизости, наступала эрекция. (“Арре бап⁵⁸, – смеется Падма, – что ж удивляться его популярности среди мужчин!”) Надир Хан, его секретарь, постоянно подвергался воздействию этой причудливой вибрации, и его уши, челюсть, пенис вели себя так, как то определял Колибри. Почему же тогда Надир оставался, не уходил, несмотря на эрекции, смущавшие его при посторонних, несмотря на зубную боль и служебные обязанности, которые иногда отнимали у него двадцать два часа из двадцати четырех? Не потому, я думаю, что он, поэт, считал своим долгом находиться в центре событий, а потом увековечить их в литературе. И не потому, что жаждал славы для себя. Нет, у Надира было нечто общее с моим дедом, и этого было достаточно. Он, Надир, тоже подцепил заразу оптимизма.

⁵⁸ Арре бап – восклицание, выражающее изумление.

Как и Адам Азиз, как и рани Куч Нахин, Надир Хан ненавидел Мусульманскую Лигу⁵⁹. (“Кучка прихлебателей! – восклицала рани своим серебряным голосом, скользя с октавы на октаву, будто лыжник с горы. – Землевладельцы, блюдущие свои интересы! Что общего у них с мусульманами? Ползают на брюхе перед британцами, формируют правительства для них, теперь, когда Конгресс отказался это делать!” – В тот год была принята резолюция “Прочь из Индии!”⁶⁰. – И кроме того, – заключала рани, – они безумцы. Иначе с чего бы им вздумалось разделить страну?”)

Миан Абдулла, Колибри, создал Свободное Исламское Собрание почти что собственными силами. Он пригласил лидеров нескольких дюжин разрозненных мусульманских группировок и предложил образовать свободную федерацию как альтернативу догматизму и продажности Лиги. Фокус удался – все явились на зов. То было первое Собрание, в Лахоре; Агра ожидала второго. Скоро шатры заполнятся участниками аграрных движений, активистами рабочих профсоюзов, видными богословами и членами региональных группировок. И будет подтверждено то, что уже прозвучало на первой ассамблее: Лига, выдвигая требование разделить Индию, говорит лишь от собственного имени. “Они повернулись к нам спиной, – гласили плакаты Собрания, – а теперь хотят, чтобы мы стояли за них!” Миан Абдулла был против раздела.

В припадке прогрессирующего оптимизма покровительница Колибри, рани Куч Нахин, ни единым словом не упомянула про тучи, сгущающиеся на горизонте. Она ни разу не указала на то, что Агра всегда была оплотом Мусульманской Лиги, она лишь изрекла примерно следующее: “Адам, мальчик мой, если Колибри хочет созвать Собрание здесь, я не собираюсь намекать ему, что лучше бы выбрать Аллахабад”. Она взяла на себя все расходы, ни на что не жалуясь и ни во что не вмешиваясь; однако же, надо признаться, наживая в городе немало врагов. Рани жила не так, как другие индийские князья. Вместо охоты на куропаток⁶¹ она поощряла ученых. Вместо скандальных гостиничных интриг она занималась политикой. Поползли сплетни: “Эти ее ученые из университета – все знают, что у них есть дополнительная нагрузка. Они приходят к ней в спальню в темноте, и она никогда не показывает им своего пятнистого лица, а завлекает их в постель певучим голосом ведьмы!” Адам Азиз никогда не верил в ведьм. Ему было хорошо в кружке ее блистательных друзей, которые одинаково свободно владели персидским и немецким. Но Назим Азиз, которая отчасти верила в истории о рани, никогда не сопровождала его в дом княгини. “Если Бог хотел, чтобы люди говорили на многих языках, – твердила она, – почему он вложил нам в уста только один?”

Так вот и получилось, что ни один из оптимистов, соратников Колибри, не был готов к тому, что случилось. Они играли в “плюнь-попади” и не замечали, как трескается земля.

Иногда легенды творят реальность и становятся полезнее, чем факты. И, значит, согласно легенде, то есть согласно изящной сплетне, пущенной стариками у лавки, где продают пан, – падение Миана Абдуллы свершилось из-за того, что на вокзале в Агре он купил веер из павлиньих перьев, хотя Надир Хан и предупредил его, что это – плохая примета. Более того: в ночь новолуния Абдулла и Надир работали допоздна, и когда взошел новый месяц, оба увидели его через стекло. “Такие вещи многое значат, – рекли старики, жующие бетель. – Мы жили слишком долго, мы знаем”. (Падма кивает в знак согласия.)

Штаб Собрания находился в университетском городке, на первом этаже исторического факультета. Ночная работа Абдуллы и Надира подходила к концу; Колибри жужжал на низких

⁵⁹ Мусульманская Лига – организация индийских мусульман, созданная в декабре 1906 г. В 1930–1940-х гг. являлась основной политической силой, выступающей за раздел страны и создание особого исламского государства.

⁶⁰ В апреле 1942 г. была опубликована статья Ганди, в которой впервые прозвучали требование немедленного предоставления Индии независимости и лозунг “Прочь из Индии!”. 6 июля лозунг “Прочь из Индии!” был поддержан Рабочим комитетом Индийского национального конгресса. 7 августа под этим лозунгом началась всеиндийская кампания несотрудничества.

⁶¹ Охота на куропаток – традиционное развлечение индийской знати.

ногах, и у Надира разламывались зубы. На стене висел плакат, агитирующий против раздела, выражающий любимую мысль Абдуллы – то была цитата из поэта Икбала⁶²: “Где земля, чужедальная Богу?” И вот убийцы вошли в университетский городок.

Факты: Абдулла нажил много врагов. Отношение к нему британцев было двойственным. Бригадир Додсон не желал его присутствия в городе. В дверь постучали, и Надир открыл. Шесть новых лун вплыли в комнату, шесть изогнутых ножей в руках у мужчин, одетых в черное, с масками на лицах. Двое схватили Надира, а остальные двинулись к Жужжащей Птичке.

“И в этот момент, – рассказывают старики, жующие бетель, – Колибри зажужжал на высокой ноте. Все выше и выше, йара, и глаза убийц вылезли из орбит, и члены их напряглись под черными плащами. И тогда – о Аллах, тогда! – запели ножи, и Абдулла возвысил голос, он жужжал высоко-высоко, как никогда раньше не жужжал. У него было крепкое тело, и длинные изогнутые клинки с трудом проходили в него, убивали с трудом; один сломался о ребро, но другие запятнались красным. Но вот – слушайте! – жужжание Абдуллы стало таким высоким, что человеческое ухо уже не улавливало его, зато ему внимали городские псы. В Агре живет 8420 бродячих псов, около того. Конечно же, в ту ночь иные жрали, другие подышали, третьи седлали сучку, а четвертые просто не слышали зова. Скажем, таких было тысячи две, значит, остается 6420 собак, и все они повернулись и побежали к университету, многие неслись по железнодорожным путям с дальнего конца города. Всем известно, что это правда. Все в городе видели это, все, кроме тех, кто спал. Псы приближались с шумом, будто войско, и путь их был устлан косточками, кашками, клоками шерсти... и все это время Абдулла жужжал, жужжал и жужжал, а ножи пели. И знайте вот еще что: внезапно глаз одного из убийц треснул и вывалился из орбиты. Потом обнаружили осколки стекла, растоптанные на ковре в мелкую крошку!”

Старики рассказывают: “Когда явились псы, Абдулла уже был почти мертв, а ножи затупились... собаки ворвались, словно дикие, вскочили через окно, в котором уже не было стекла, потому что жужжание Абдуллы разнесло их вдребезги... они ломались в дверь, пока не треснула древесина... они были повсюду, баба!.. иные с перебитыми лапами, иные – плешивые, но все по большей части зубастые, а некоторые и с острыми клыками... И теперь глядите: убийцы не боялись, что им помешают, и не выставили караула, так что собаки их застигли врасплох... те двое, что держали Надир Хана, бесхребетного, пали под тяжестью обезумевших тварей; собак, наверное, шестьдесят восемь впились им в глотки... убийцы были так жутко растерзаны, что ни один человек не мог сказать, кто они такие”.

“В какой-то миг, – рассказывают старики, – Надир выпрыгнул из окна и побежал. Собаки и убийцы были слишком заняты и не погнались за ним”.

Собаки? Убийцы?... Не верите мне, убедитесь сами. Попробуйте что-нибудь выяснить насчет Миана Абдуллы и его Собраний. Вы обнаружите, что его история запрятана глубоко под ковер... а теперь давайте я расскажу вам, как Надир Хан, его секретарь, провел три года под циновками в доме моих родных.

В молодости он жил в одной комнате с художником, чьи картины становились все больше и больше по мере того, как он старался всю жизнь охватить своим искусством. “Только погляди на меня, – сказал он перед тем, как покончить с собой, – я хотел рисовать миниатюры, а подцепил слоновью болезнь!” Разбухшие события этой ночи ножей-полумесяцев напомнили Надир Хану его соседа, ибо жизнь, эта вредина, опять не укладывалась в натуральную величину. Она обернулась мелодрамой, и это смутило поэта.

Как Надир Хан пробежал незамеченным через ночной город? Я приписываю этот факт тому, что он был плохим поэтом, а значит, имел врожденный инстинкт выживания. Бежал он как-то застенчиво, будто извиняясь, что ведет себя, как в дешевом триллере, из тех, что про-

⁶² Мухаммад Икбал (1877–1938) – выдающийся индийский поэт и философ. Писал на урду и персидском. Автор нескольких поэтических сборников и философских трактатов.

дают книгоноши на железнодорожных станциях, а то и просто дают в придачу к бутылочкам с зеленым лекарством от простуды, тифа, мужского бессилия, тоски по дому и бедности... На Корнуоллис-роуд опустилась теплая ночь. В жаровне у опустевшей стоянки рикш не светились угли. Лавка, где продают пан, давно закрылась, и старики уснули на крыше, и им снилась завтрашняя игра. Страдающая бессонницей корова, лениво жуя пачку сигарет “Ред энд уайт”, прошла мимо бродяги, спящего на тротуаре, и это означало, что он проснется поутру, потому что корова не обращает внимания на спящего до тех пор, пока не наступит его смертный час. Тогда она задумчиво подталкивает его носом. Священные коровы жрут что попало.

Большой старый каменный дом моего деда, купленный на деньги, вырученные от продажи ювелирной лавки, и на приданое дочери слепого Гхани, высился в темноте на почтительном расстоянии от дороги. Позади дома был сад, окруженный стеной, а у калитки приютилась низенькая сторожка, которую задешево сдавали семье старого Хамдарда; жил там и его сын Рашид, молодой рикша. Перед сторожкой находился колодец, колесо которого вращали коровы; по оросительным каналам вода струилась оттуда к небольшому кукурузному полю, простиравшемуся до ворот в стене, что выходила на Корнуоллис-роуд. Между домом и полем пролегла небольшая канава, по берегам которой пробирались пешеходы и рикши. В Агре велорикши совсем недавно пришли на смену арбе, которую тащил человек, зажатый между оглоблями. Могли здесь проехать даже легкие двуколки, запряженные лошадьми, но уже с трудом. Надир Хан прошмыгнул в ворота, распластался на мгновение у стены и чуть не сгорел со стыда, отливая. Затем, явно расстроенный пошлостью своего решения, метнулся к кукурузному полю и спрятался там. Наполовину скрытый высохшими на солнце стеблями, он улегся на землю в позе зародыша.

Рашиду, молодому рикше, было семнадцать лет, и он возвращался из кино. Утром он видел, как двое мужчин толкали невысокую тележку, на которой были установлены домиком две огромные, написанные от руки афиши, рекламирующие новый фильм “Гае-вала”, где в главной роли снимался Дев, любимый актер Рашида. “СРАЗУ ПОСЛЕ ПЯТИДЕСЯТИ НЕДЕЛЬ БЕШЕНОГО УСПЕХА В ДЕЛИ! ШЕСТЬДЕСЯТ ТРИ НЕДЕЛИ В БОМБЕЕ, – вопили афиши. – ВТОРОЙ ГОД ПОЛНЫЕ СБОРЫ!” Фильм представлял собой восточный вестерн. Главный герой, Дев, особой стройностью не отличавшийся, один разъезжал по равнине. Та явно напоминала Индо-Гангскую низменность. “Гае-вала” значит “коровий пастух”, и Дев играл храброго парня, в одиночку, без всякой помощи, бдительно охранявшего коров. В ОДИНОЧКУ! и С ВЕРНОЙ ДВУСТВОЛКОЙ! он отбивал многочисленные стада, которые гнали по равнине на бойню, побеждал погонщиков и освобождал священных животных. (Фильм снимался для индуистской аудитории, в Дели он вызвал бунты. Члены Мусульманской Лиги гнали коров на бойню мимо кинотеатров, и их растерзала толпа.) Песни и танцы были хороши, главная танцовщица – очень красивая; правда, она выглядела бы изящней, если бы ее не заставили танцевать в ковбойской шляпе вместимостью в десять галлонов. Рашид сидел на передней скамье, свистел и орал вместе со всеми. Он съел две самосы⁶³, сильно потратился – мать будет недовольна, – зато получил удовольствие. Пока он ехал домой на своем велосипеде с коляской, Рашид отрабатывал некоторые приемы из фильма: низко свисал набок, съезжал на полной скорости с пологого склона, укрывался от врагов за коляской, как Гае-вала – за крупом коня. Наконец он въехал на пригорок, повернул руль, и, к полному его восторгу, велосипед с коляской легко влетел в ворота и заскользил по кукурузному полю. Гае-вала использовал этот трюк, подъезжая к группе погонщиков, которые посиживали себе в кустах, ни о чем не догадываясь, пили и играли. Рашид вцепился в руль и ринулся на кукурузное поле, нападая – НА ВСЕМ СКАКУ! – на беспечных погонщиков, выставив вперед заряженные пистолеты. Приближаясь к лагерю, он испустил “воплъ ненависти” для пушего переполоха. Й-Я-Я-Я-Я-Я-

⁶³ Самоса – слоеный пирожок треугольной формы.

Я-Я! Конечно же, он не стал по-настоящему кричать так близко от дома доктора-сахиба, но на всем скаку разинул рот в беззвучном вопле. БЛЯМ! БЛЯМ! Надир Хан никак не мог уснуть и теперь открыл глаза. И увидел – ЭЭЭЙЯЯ! – неясно выступающий из тьмы силуэт, несущийся на него, как почтовый поезд, и вопящий во всю глотку – впрочем, он, наверно, оглох, потому что крика не слышит! – и вскочил на ноги, раздвинув чересчур пухлые губы, чтобы заорать, и тут Рашид заметил его и тоже обрел голос. Ухая от страха в унисон, оба повернулись друг к другу задом и припустили прочь. Потом остановились, заметив, что противник бежал, и устались один на другого сквозь пересохший бурьян. Рашид узнал Надир Хана, заметил его порванный костюм и разволновался.

– Я друг, – забормотал Надир вне себя. – Я должен видеть доктора Азиза.

– Но доктор спит, его нет на поле.

“Успокойся, – приказал себе Рашид, – перестань городить чепуху! Это друг Миана Абдуллы!..” Но Надир, кажется, вообще ничего не слышал, лицо его отчаянно кривилось, он старался вытолкнуть слова, застрявшие между зубов, словно куски курятины...

– Моя жизнь, – наконец удалось выдавить ему, – в опасности.

И Рашид, все еще полный впечатлений от “Гае-Вала”, пришел на помощь. Он провел Надира к дому, к боковой двери. Та была закрыта на задвижку и на замок, но Рашид потянул за болты, и замок выскочил.

– Индийский, – прошептал он, и все стало понятно.

Надир забрался внутрь, а Рашид прошипел:

– Можете положиться на меня, сахиб. Никому – ни слова! Клянусь сединами моей матери.

Он приладил замок на место. Спасти секретаря, правую руку Колибри!.. Но от чего? От кого?.. Ну что ж, в жизни иногда бывает интересней, чем в кино.

– Так это он? – вопрошает Падма в некотором смятении. – Этот жирненький, мягонький, трусливый толстячок будет твоим отцом?

Под ковром

Так пришел конец эпидемии оптимизма. Утром уборщица вошла в штаб Свободного Исламского Собрания и обнаружила умолкшего Колибри на полу; его окружали следы лап и разорванные в клочья убийцы. Она закричала, но позже, когда представители власти прибыли и отбыли, ей велели все вычистить. Убрав безмерное количество собачьей шерсти, передавив бесчисленных блох, вычистив из ковра осколки разбитого стеклянного глаза, она заявила университетскому распорядителю работ, что, если такое будет повторяться, следует немного повысить ей жалованье. Она, наверное, была последней жертвой оптимистической заразы, и в данном случае выздоровление наступило быстро, потому что распорядитель был крут и тут же ее уволил.

Убийц так и не опознали; не были поименованы и те, кто им заплатил. Майор Зульфикар, адъютант бригадира Додсона, вызвал в кампус моего деда, чтобы тот выправил своему другу свидетельство о смерти. Майор Зульфикар пообещал зайти к доктору Азизу, поделиться немногими доступными ему сведениями; мой дед высморкался и вышел вон. Шатры на площади спускались, как проколотые надежды, – Собранию больше не суждено было собраться. Рани Куч Нахин слегла. Всю жизнь она не замечала болезней, а теперь позволила им вступить в свои права и долгие годы не покидала постели, наблюдая за тем, как все ее тело становится белым, будто простыня. А старый дом на Корнуоллис-роуд в те времена был полон будущих матерей и возможных отцов. Вот видишь, Падма, скоро ты все узнаешь.

С помощью моего носа (он хоть и утратил силу, которая столь недавно позволяла ему творить историю, зато обрел другие, не менее полезные свойства), развернув его в сторону прошлого, я вдыхаю воздух дедова дома в дни, последовавшие за смертью жужжащей надежды Индии, и сквозь годы долетает до меня странная смесь запахов: беспокойство, душок скрытности, связанный с расцветающими романами, и резкая вонь властного любопытства моей бабки... пока Мусульманская Лига ликует, разумеется, тайно, при виде поверженного противника, деда моего можно найти (мой нос его находит) в кабинетике, который он называет “вместилищем грома”: там он сидит каждое утро со слезами на глазах. Но то не горькие слезы утраты – Адам Азиз всего лишь платит свою цену за индианизацию и жестоко страдает от запоров. Он бросает злобные взгляды на хитроумный клистир, висящий на стене туалета.

Зачем я вторгаюсь в столь интимные частности? Зачем, когда я мог бы рассказать, как после смерти Миана Абдуллы Адам погрузился в работу, взяв на себя уход за больными в труппах у железнодорожного полотна, вырывая их из рук у знахарей, которые впрыскивали перечную воду и верили, что жареные пауки излечивают слепоту, и продолжая притом исполнять обязанности университетского врача; когда я мог бы описать подробно, как росла и крепла привязанность между моим дедом и его второй дочерью Мумтаз, которую мать недолюбливала из-за темного цвета кожи; отцу же, обуреваемому страстями, внутренне неудовлетворенному, истосковавшемуся по нежности, не задающей вопросов, были дороги ее мягкость, заботливость и хрупкость? Зачем, когда бы я мог вместо этого описать, сколь чувствительным сделался в те времена его нос, как он непрерывно чесался, зачем, спрашивается, решил я поваляться в дерьме? Затем, что именно в названном кабинетике находился Адам Азиз после того, как подписал свидетельство о смерти, и именно там внезапно раздался голос – тихий, робкий, смущенный голос обделенного рифмами поэта – и заговорил с ним из глубин огромной старой бельевой корзины, стоявшей в углу, Изумление доктора было столь сильным, что подействовало как слабительное, и клистирное сооружение так и осталось висеть на своем гвозде. Рашид, юный рикша, завел Надир Хана во “вместилище грома” через черный ход, и поэт спрятался в бельевой корзине. Когда застигнутый врасплох сфинктер моего деда раскрылся, слуха его

достигла мольба об убежище, заглушенная простынями, грязным бельем, старыми рубашками и смущением молящего. Вот так Адам Азиз и решил спрятать Надир Хана.

И тут уже начинается припахивать скандалом, потому что Достопочтенная Матушка Назим думает о своих дочерях: об Алии, которой двадцать один год, о черной Мумтаз, девятнадцатилетней, и о прелестной, порхающей Эмералд, которой нет еще пятнадцати и которая, однако, кидает на мужчин такие взгляды, какие старшим сестрам и не снились. Игроки в “плюнь-попади”, и молодые рикши, и парни, что возят по городу тележки с афишами новых фильмов, и студенты университета – все называют трех сестер “Тин Батти”, Три Огонька... и как может Достопочтенная Матушка позволить, чтобы чужой мужчина обитал в том же доме, что и степенная Алия, и Мумтаз с ее смуглой, светящейся кожей, и Эмералд с лукавым взором? “Ты тронулся умом, муженек, эта смерть повредила тебе рассудок”. Но Азиз был непреклонен: “Он останется”. В подполе... ведь тайники – ключевая особенность индийской архитектуры, и в доме Азиза имеются обширные подземные покои, куда можно попасть через люки в полу, прикрытые коврами и циновками... Надир Хан вслушивается в неясный рокот ссоры и страшит за свою судьбу. Боже мой (я нюхом чую мысли поэта с потными ладошками), мир сошел с ума... да люди ли мы вообще в этой стране? Или скоты? И если мне придется уйти, долго ли дожидаться, пока те ножи явятся за мною?.. В мозгу у него мелькают образы веера из павлиньих перьев – молодого месяца, увиденного сквозь стекло, – и преобразуются в колющие, покрытые красным клинки... Наверху Достопочтенная Матушка бубнит: “Дом полон молодых, как его, незамужних девиц. Так-то ты заботишься о чести своих дочерей?” И – терпкий дух лопнувшего терпения: великий, всеокрушающий гнев Адама Азиза вспыхивает огнем, и вместо того, чтобы указать, что Надир Хан будет жить в подполе, покрытый ковром, и вряд ли сможет оттуда запятнать честь дочерей; вместо того чтобы воздать должное безглагольному, безгласному барду и его чувству приличия, которое столь велико, что, даже если ему и приснится, будто он делает девушке рискованное предложение, бедняга покраснеет во сне; вместо того чтобы опереться на голос рассудка, мой дед ревет: “Замолчи, женщина! Этому человеку нужно убежище, и он останется здесь”. И, словно стойкие, неистребимые духи, тяжелое облако решимости обволакивает мою бабу, и она изрекает: “Очень хорошо. Ты требуешь от меня, как его, молчания. Значит, отныне и навсегда мои уста, как его, не произнесут более ни слова”. И Азиз завывает: “О проклятие, женщина, не морочь нам голову своими безумными клятвами!”

Но уста Достопочтенной Матушки сомкнулись, и опустилась тишина. Запах тишины, будто вонь от тухлого гусяного яйца, наполняет мои ноздри; заглушая все остальное, она, эта тишина, охватывает всю землю. Пока Надир Хан хоронится в сумеречном подземном мире, хозяйка дома тоже укрывается за глухую стеной безмолвия. Вначале мой дед выстукивал стену в поисках трещин, но не нашел ни одной. Наконец он сдался и стал ждать хоть каких-то слов, в которых отразились бы частички ее существа, так же, как когда-то вожделем к небольшим отрезкам плоти, которые видел сквозь продырявленную простыню, а молчание наполняло весь дом, от стены к стене, от пола до потолка; даже мухи перестали жужжать, и комары не зудели перед тем, как впиться в тело, и не шипели во дворе гуси. Дети сначала говорили шепотом, потом умолкли совсем, а на кукурузном поле юный рикша Рашид испускал безмолвный “воплъ ненависти” и, некогда поклявшись сединой матери, хранил свой собственный обет молчания.

В это-то болото безмолвия однажды вечером забрел коротышка с головой такой же плоской, как и надетое на нее кепи, с ногами, кривыми, как тростинки на ветру, нос почти касался вздернутого подбородка, и голосок поэтому был тонким и пронзительным – как же иначе, ведь ему приходилось протискиваться через такую узкую щель между гортанью и нависающей над ней челюстью... был он настолько близорук, что двигался по жизни маленькими шажками, завоевав себе репутацию усердного, но тупого служаки, и это нравилось начальникам: они чувствовали, что им хорошо служат, но ничем не угрожают. Человек в накрахмаленном, отглаженном мундире, пропахшем одеколоном “Бланко” и моральными устоями – и все

же, несмотря на его вид тряпичной куклы из балаганчика, над ним витал ни с чем не сравнимый аромат успеха: майор Зульфикар, человек с большим будущим, явился, как и обещал, чтобы поделиться немногими доступными ему сведениями. Убийство Абдуллы и подозрительное исчезновение НаDIR Хана не выходили у него из головы, и поскольку он знал о том, что и Адам Азиз был заражен микробом оптимизма, то принял тишину, царящую в доме, за траурное молчание и довольно быстро удалился. (Тем временем НаDIR ютился в подвале вместе с тараканами.) Сидя неподвижно в гостиной среди пятерых детей, положив кепи и стек на рентгеновский аппарат, под испытующими взорами юных Азизов, чьи изображения в натуральную величину были развешаны по стенам, майор Зульфикар влюбился. Он был близорук, но не слеп, и в до невозможности взрослом взгляде юной Эмералд, самого яркого из “трех огоньков”, сумел прочесть, что эта девчушка разгадала его будущее и ради грядущего блеска простила ему его внешность, и еще до того, как покинуть дом, Зульфикар решил жениться на ней, выдержав приличествующий срок. (“Это она и есть? – спрашивает Падма. – Эта развязная не по годам девчонка – твоя мать?” Но другие матери, ждущие своего часа, другие будущие отцы спуют туда-сюда среди молчания.)

В это топкое, бессловесное время проснулись и чувства старшей, степенной Алии, и Достопочтенная Матушка, затворившая себя в кладовке и на кухне, запечатавшая свои уста, никак не могла, из-за принесенного обета, выразить опасения по поводу молодого коммерсанта, торгующего прорезиненными и кожаными изделиями, который начал навещать ее дочь. (Адам Азиз всегда настаивал, чтобы его дочерям позволялось дружить с молодыми людьми.) Ахмед Синай – “Ага!” – торжествуяще вопит Падма, услышав знакомое имя, – встретил Алию в университете и был вроде бы достаточно умен для начитанной, развитой девушки, на лице которой нос моего деда казался выражением слишком многия мудрости, но Назим Азиз не особенно доверяла этому ухажеру, потому что в двадцать лет он уже успел развестись. (“Единожды ошибиться может всякий”, – сказал ей Адам, и опять едва не вспыхнуло сражение, ибо ей показалось, будто в голосе доктора зазвучали слишком личные нотки. Но тут Адам добавил: “Через год-два этот развод забудется, и тогда мы сыграем первую свадьбу в нашем доме, в саду поставим большой шатер, пригласим певцов, накупим сластей и все такое прочее”. А что там ни говори, подобная мысль была Назим по душе.) И вот, блуждая по обнесенным стенами садам тишины, Ахмед Синай и Алиа общались без слов, но хотя все ждали, что он сделает предложение, – безмолвие, похоже, сковало и ему язык, так что вопрос так и не был задан. Именно в то время лицо Алии отяжелело, челюсть отвисла – от этого унылого выражения ей так и не удалось избавиться до самой кончины. (“Ну что ты, – стыдит меня Падма, – разве можно такими словами описывать свою почтенную матушку”.)

И еще одно: Алиа унаследовала от матери склонность к полноте. С годами она раздулась, как шар.

А Мумтаз, которая вышла из материнского лона черной, как полночь? Мумтаз умом не блистала, не была она и красавицей, как Эмералд, зато была она доброй, послушной и одинокой. С отцом она проводила больше времени, чем другие сестры, разгоняла его дурное настроение, которое в те дни часто усиливалось из-за того, что нос у доктора беспрерывно чесался. Она же и взяла на себя заботу обо всех нуждах НаDIR Хана: каждый день спускалась в его подземный мир, таскала подносы с едой и щетки, даже опорожняла его персональное “вместилище грома”, чтобы и золотарь не догадался о присутствии в доме чужого. Когда Мумтаз сходила вниз, НаDIR Хан опускал глаза, и в этом немом доме они ни разу не обменялись ни словом.

Что, бишь, говорили игроки в “плюнь-попади” о Назим Азиз? “Она подглядывает сны дочерей, дабы знать, что замышляют девчонки”. Да, иного объяснения нет – в нашей стране происходили и более странные вещи, откройте любую газету да почитайте пикантные репортажи о чудесах в той ли, иной деревне, – да, Достопочтенная Матушка начала видеть сны своих дочерей. (Падма принимает это на веру не моргнув глазом, но то, что другие проглотят как

ладду⁶⁴ и не подавятся, она моментально отвергнет. У всякой публики своя структура веры.) И так, уснув ночью в своей постели, Достопочтенная Матушка навещала сны Эмералд, где натыкалась на другие сны – на тайную фантазию майора Зульф리카ра: большой современный дом с ванной около постели. Это было пределом амбиций майора, и таким способом Достопочтенная Матушка выяснила не только то, что ее дочка тайком встречается со своим Зульфи в местах, где можно говорить, но и то, что амбиции Эмералд идут гораздо дальше. И (почему бы и нет?) в снах Адама Азиза она увидела, как муж ее совершает свой скорбный путь вверх по какой-то горе в Кашмире, а в животе у него дыра величиной с кулак, и догадалась, что Азиз ее разлюбил, а также предвосхитила его смерть; годы спустя, услышав, как он умер, Назим произнесла: “О, я так и знала”.

...Еще немного, думала Достопочтенная Матушка, и наша Эмералд расскажет своему майору о госте, живущем в подполе, и тогда я снова обрету способность говорить. Но вот однажды ночью она вторглась в сны своей дочери Мумтаз, чернавки, которую так и не смогла полюбить из-за того, что кожа ее была темна, как у рыбачки с юга, и поняла: неприятности на этом не кончатся, потому что Мумтаз Азиз, как и ее подковерный воздыхатель, влюбилась.

Доказательств не было. Вторжение в сны – или материнская осведомленность, или женская интуиция, называйте это как хотите, – не имеет силы в суде, а Достопочтенная Матушка знала, что обвинить дочь в любовных шашнях под родительским кровом – дело серьезное. Вследствие чего Достопочтенная Матушка почувствовала себя нестигаемой и крепкой, как сталь, и решила ничего не предпринимать, не нарушать молчания: пусть Адам Азиз сам убедится, как новомодные идеи губят его детей – да, пускай сам все обнаружит после того, как он всю жизнь затыкал рот ей, приличной женщине, воспитанной в старых понятиях.

– Ох, сильна баба, – замечает Падма, и я соглашаюсь.

– Ну и что? – спрашивает Падма. – Так по ее и вышло?

– Да, в некотором роде так все и вышло.

– Были любовные шашни? В подполе? И даже сводни не понадобилось?

Подумай об обстоятельствах – смягчающих обстоятельствах, в полном смысле этого слова. В подполе позволительно то, что при ярком дневном свете покажется нелепым или даже скверным.

– Жирный поэт сотворил это с бедной чернавкой? Сотворил?

Он просидел внизу долго – достаточно долго, чтобы начать разговаривать с проворными тараканами или трепетать от страха при мысли, что в один прекрасный день его попросят уйти, или видеть во сне ножи-полумесяцы и завывающих псов, или желать снова и снова, чтобы Колибри воскрес и сказал ему, что делать дальше, или обнаружить, что в подполье не пишутся стихи, – и вот девушка приносит еду, не чинясь, убирает ночные горшки – и ты опускаешь глаза, но все же видишь щиколотку, изящную, стройную, окутанную сиянием, темную, как ночи в подземелье...

– Я и не думала, что он способен на такое, – восхитилась Падма. – Этот вялый, ни на что не годный толстяк!

Но на самом деле в доме, где у каждого, даже у беглеца, что прячется в подвале от своих безликих врагов, пересыхает во рту и язык прилипает к небу, где юные сыновья вынуждены уходить в кукурузное поле, к молодому рикше, чтобы судачить о шляхах, сравнивать, чей член длиннее, и робко делиться мечтами о карьере в кино (Ханиф спит и видит такую карьеру, чем приводит в ужас его зрящую чужие сны матушку, которая считает, что кино – это большой бордель), где жизнь обернулась гротеском, когда история вторглась в нее. На самом деле во мраке подземелья беглец не может совладать с собой, взгляд его поднимается выше, к тон-

⁶⁴ Ладду – сладкое печенье круглой формы.

ким ремешкам сандалий, мешковатым шароварам, широкому кафтану, выше, к повязанной из скромности дупатге, еще выше, туда, где глаза встречаются – и тогда...

– Что тогда? Ну же, баба, что?

Девушка робко улыбается ему.

– Что?

И нижний мир процветает улыбками, и что-то начинается.

– Ах, так? Ты хочешь сказать, что это – все?

– Да, все: до того дня, когда Надир Хан добивается встречи с моим дедом – слова едва доносятся из тумана безмолвия – и просит руки его дочери.

– Бедняжка, – заключает Падма. – Кашмирские девушки обычно белые, как горный снег, а она уродилась черной. Ну что ж: цвет кожи, возможно, помешал бы ей сделать хорошую партию, так что этот Надир не дурак. Теперь его не смогут выгнать, обязаны кормить да укрывать, а ему-то, червяку толстому, всех делов – зарыться в землю поглубже. Да, похоже, он вовсе не дурак.

Мой дед всячески пытался убедить Надир Хана, что опасности больше нет – убийцы мертвы, да и истинной целью их был Миан Абдулла, но Надир Хан видел во сне поющие ножи и умолял: “Еще рано, доктор-сахиб, пожалуйста, разрешите остаться ненадолго”. И вот однажды вечером, в конце лета 1943 года – вновь стояла засушливая погода – мой дед, чей голос казался далеким и призрачным в этом доме, где произносилось так мало слов, созвал детей в гостиную, увешанную их портретами. Войдя, они обнаружили, что матери нет – она предпочла затвориться в своей комнате, опутанной паутиной молчания, – зато явились законник и (Азиз, хоть и не по доброй воле, вынужден был исполнить желание Мумтаз) мулла: обоих прислала болящая рани Куч Нахин, оба были “в высшей степени достойны доверия”. И там была их сестра Мумтаз в наряде невесты, и рядом с ней, напротив рентгеновского аппарата, восседал гладко-волосый, тучный, донельзя смущенный Надир Хан. Таким образом, на первой свадьбе в доме не было ни шатров, ни певцов, ни сладостей, и гостей самый минимум, а когда обряд закончился и Надир Хан откинул покрывало с лица новобрачной, Азиз при этом ощутил внезапный шок, снова на какое-то мгновение стал молодым, опять очутился в Кашмире, на помосте, по которому проходили люди и бросали рупии ему на колени – мой дед взял со всех присутствующих клятву не выдавать того, что в подполе обретается новоявленный зять. Эмералд поклялась последней, с явной неохотой.

После чего Азиз с сыновьями спустили через люк, прорезанный в гостиной, разные предметы обстановки: ковры, и подушки, и лампы, и большую удобную кровать. И наконец Надир и Мумтаз удалились под своды подвала: люк захлопнулся, ковер развернули и положили на место, и Надир Хан, любящий и нежный муж, забрал супругу в свой нижний мир.

Мумтаз Азиз стала вести двойную жизнь. Днем она была незамужней девушкой, жила скромно и целомудренно в доме своих родителей, весьма посредственно училась в университете, обладая зато усидчивостью, благородством и терпением, которые отличали ее всегда, даже когда на ее пути встречались говорящие бельевые корзины, даже когда ее сплющивало, будто рисовый блин; зато ночью, спускаясь через люк, она входила в озаренный светом ламп, уединенный брачный покой, который тайный ее супруг имел обыкновение называть “Тадж-Махал”, потому что люди звали Тадж-биби ту, прежнюю Мумтаз – Мумтаз Махал, жену Шах Джохана, чье имя значило “повелитель мира”⁶⁵. Когда она умерла, супруг построил ей мавзолей, увековеченный на почтовых открытках и коробках шоколадных конфет; наружные коридоры его воняют мочой, стены покрыты граффити, а крики посетителей и гидов эхом отдаются под сводами, хотя всюду имеются надписи на трех языках с просьбой соблюдать тишину. Как Шах

⁶⁵ Тадж-Махал— знаменитая усыпальница в Агре, построенная могольским императором Шах Джоханом (1628–1658) для своей любимой супруги императрицы Мумтаз Махал.

Джахан и его Мумтаз, Надир со своей смуглой леди лежали рядышком, и инкрустированная лазуритом вещица составляла им компанию – прикованная к постели, умирающая рани Куч Нахин послала им в качестве свадебного подарка изумительно вычеканенную, изукрашенную лазуритом и другими драгоценными камнями серебряную плевательницу. В своем уютном, озаренном светом ламп, уединенном мире муж и жена играли в игру стариков.

Мумтаз готовила для Надира пан, но самой ей этот вкус не нравился. Она цыркала струями нибу-пани⁶⁶. Его фонтанчики были красными, ее – лимонного цвета. То было самое счастливое время в ее жизни. Как она сама сказала потом, когда окончилось великое безмолвие: “В конце концов у нас пошли бы дети, просто тогда это было неудобно, вот и все”. Мумтаз Азиз всю жизнь любила детей.

Тем временем Достопочтенная Матушка месяц за месяцем жила в тисках молчания, настолько полного, что даже распоряжения слугам отдавались знаками. Однажды повар Дауд глазел на нее, стараясь понять ее бешеную, невразумительную жестикуляцию, в результате чего упустил из виду кипящую подливу, та сбежала и пролилась ему на ногу, превратив ступню в яичницу из пяти пальцев; он открыл было рот, чтобы завопить, но не смог издать ни звука, после чего окончательно убедился, что старая карга – настоящая ведьма, и со страху не решился покинуть службу. Так он и оставался в доме до самой своей смерти, ковляя по двору и отбиваясь от гусей.

Времена выдались тяжелые. Засуха привела к нормированию продуктов, множились постные дни и дни без риса, и в такой обстановке трудно было кормить лишний подпольный рот. Достопочтенная Матушка вынуждена была основательно покопаться в своей кладовке, и злость ее загустела, будто соус на медленном огне. Из бородавок на лице полезли волоски. Мумтаз с беспокойством наблюдала, как мать от месяца к месяцу раздается вширь. Невысказанные речи разбухали внутри... Мумтаз казалось, будто кожа у матери вот-вот лопнет.

А доктор Азиз целыми днями не бывал дома, стараясь держаться подальше от мертвящей, отупляющей тишины, так что Мумтаз, проводившая ночи в подполье, очень редко виделась с отцом, которого любила; Эмералд не нарушила клятву и не выдала майору семейную тайну, зато и сама скрыла от домашних свои отношения с ним, что, по ее мнению, было вполне справедливо, а на кукурузном поле Мустафа, и Ханиф, и Рашид, юный рикша, апатично ждали перемен. Дом на Корнуоллис-роуд плыл себе по волнам времени, пока не достиг 9 августа 1945 года – и тут кое-что случилось.

Для семейной истории, конечно, существуют свои собственные диетические правила. Можно поглотить и переварить только дозволенные ее части, порции прошлого, предписанные халалом⁶⁷, куски, из которых выпущена алая кровь. Жаль, что от этой истории получают не такими сочными, так что я, пожалуй, первым и единственным из моей семьи решусь законами халала пренебречь. Не позволяя ни единой капли крови вытечь из плоти рассказа, я приближаюсь к запретной теме и неустрашимо двигаюсь вперед.

Что же случилось в августе 1945 года? Умерла рани Куч Нахин, но не об этом я хочу рассказать, хотя на смертном одре она так побелела, что было трудно разглядеть ее на фоне простыней; исполнив свое предназначение и внедрив в мою историю серебряную плевательницу, она вовремя удалилась... да и муссоны в 1945 году не подвели. Орде Вингате и его чиндиты, а также армия Субхаш Чандры Боса⁶⁸, воюющая на стороне японцев, шлепали по бирманским джунглям под непрекращающимися дождями. Участники ненасильственного сопротивления в Джалландхаре⁶⁹, мирно лежа на рельсах, тоже мокли до костей. Трещины в иссохшей, спек-

⁶⁶ Нибу-пани – лимонная вода.

⁶⁷ Халал (“дозволенный, разрешенный”) – имеется в виду пища, дозволенная правоверным мусульманам.

⁶⁸ Субхаш Чандра Бос (1897–1945) – видный деятель индийского освободительного движения. Один из лидеров (в 1938–1939 г. председатель) Индийского национального конгресса.

⁶⁹ Во второй половине 1945 г. по всей Индии вновь прокатилась волна стачек, забастовок и демонстраций в поддержку

шейся земле стали затягиваться; двери и окна в доме на Корнуоллис-роуд были подоткнуты полотенцами, которые приходилось постоянно выжимать и подкладывать заново. Придорожные пруды кишели комарами. А подвал – Тадж-Махал смуглянки Мумтаз – отсырел, и она в конце концов захворала. Несколько дней она никому ничего не говорила, но, видя, как ввалились и покраснели у нее глаза, как бьет ее лихорадка, Надир, испугавшись, что это воспаление легких, упрямил ее показаться отцу. Следующие несколько месяцев она провела в своей девичьей постели, и Адам Азиз сидел у изголовья дочери, клал ей на лоб холодные компрессы и старался сбить температуру. 6 августа наступил перелом. 9 августа Мумтаз настолько оправилась, что смогла принимать твердую пищу.

И тогда мой дед извлек старый кожаный чемоданчик с буквами ГЕЙДЕЛЬБЕРГ, вытисненными внизу: поскольку дочь так ослабла после болезни, он решил подвергнуть ее тщательному медицинскому осмотру. Когда доктор расстегнул чемоданчик, бедняжка ударилась в слезы.

(Вот оно начинается, Падма: час настал.)

Через десять минут долгий век тишины закончился навсегда – дед мой с ревом выскочил из комнаты, где лежала больная. Воплями скликал он жену, дочерей, сыновей. У доктора были могучие легкие, и звуки достигли ушей Надира Хана в его заточении. Ему нетрудно было догадаться, чем вызван переполох.

Семья собралась в гостиной, вокруг рентгеновского аппарата, под вечно юными фотографическими портретами. Азиз на руках принес туда Мумтаз и усадил ее на кушетку. На лицо его было страшно смотреть. Представляете, что творилось у него в носу? Вот какую бомбу должен был он взорвать: после двух лет супружества дочь его оставалась девственницей.

Прошло три года с тех пор, как Достопочтенная Матушка говорила в последний раз: “Дочка, это правда?” Тишину, ключьями паутины обметавшую углы дома, наконец унес ветер, но Мумтаз просто кивнула головой: да, правда.

Потом она заговорила. Сказала, что любит мужа, а то, другое, со временем тоже наладится. Он – хороший человек, и когда будет можно иметь детей, уж как-нибудь постарается. Сказала, что это в браке не главное, так она думает, поэтому она и не хотела ни с кем делиться, и отец напрасно так громко кричит об этом при всех. Она сказала бы еще больше, но Достопочтенную Матушку прорвало.

Слова, скопившиеся за три года, изверглись из нее (хотя плоть, растянувшаяся, чтобы их удержать, ничуть не уменьшилась). Дед стоял недвижимо рядом с рентгеновским аппаратом все время, пока бушевала буря. Кто все это измыслил? Какой сумасшедший дурак впустил в дом этого труса, который даже и не мужчина? Жил здесь три года, как его, птичкой небесной, на всем готовом – а тебе в голову хоть раз пришло, каково оно, как его, стряпать обед без мяса; ты когда-нибудь имел хоть какое-нибудь представление о том, сколько стоит рис? Кто тут раззява, да, раззява, доживший до седых волос, кто допустил этот позорный брак? Кто отправил родную дочь в постель, как его-как его, к этому подонку? Чья голова набита проклятой ерундой, как его-как его, всякими мудреными исхищрениями; у кого мозги так размякли от диких чужестранных идей, что он, не дрогнув, толкнул собственное дитя на столь противный природе союз? Кто всю жизнь гневил Бога, как его-как его, и на чью голову обрушилась кара? Кто навлек несчастье на этот дом?.. Так она честила моего деда целый час и девятнадцать минут, а когда выдохлась, в тучах тоже иссякла вода и во всем доме стояли лужи. Но еще до того, как она замолчала, ее младшая дочь Эмералд повела себя чрезвычайно странно.

Эмералд подняла руки к вискам, сжала их в кулаки, вытянув указательные пальцы. Пальцы внедрили в ушные раковины, и это действие, казалось, вселило в Эмералд жизнь,

вырвало ее из кресла – и вот она бежит, зажимая уши пальцами, бежит – ВО ВЕСЬ ОПОР! – не набросив дупатты, выскакивает на улицу, шлепает по лужам, мимо стоянки рикш, мимо лавки, где продают пан и откуда уже начали потихонечку выбираться старики, чтобы подышать чистым, свежим воздухом, какой бывает после дождя. Стремительный ее бег вверх в изумление уличных мальчишек, которые приготовились уже к своей излюбленной игре – скакать туда и сюда между струями бетеля: виданое ли дело, чтобы молодая госпожа, тем паче из сестер “Тин Батти”, бегала одна, как безумная, по раскисшим от ливня улицам, заткнув уши пальцами и даже не накинув на плечи дупатты? Нынче города полны современных, одетых по моде девиц без дупатты, но в ту пору старики горестно зацокали языками: ведь женщина без дупатты – бесчестная женщина, и зачем, спрашивается, Эмералд-биби решила оставить дома свою честь? Старики пребывали в недоумении, но Эмералд знала, что делает. В этом свежем, чистом воздухе, какой бывает после дождя, она ясно и четко увидела, что источник всех семейных несчастий – трусливый толстячок (да, Падма), укrywшийся в подполе. Надо избавиться от него – и все снова будут счастливы... Эмералд бежала, не переводя дыхания, до самого военного городка. Там расквартированы войска, там она найдет майора Зульфикара! Нарушив клятву, тетка моя вбежала к нему в кабинет.

Зульфикар – славное мусульманское имя. Так звался обоюдоострый меч Али, племянника Мухаммада⁷⁰. Подобного оружия не видывал свет.

О, да: кое-что случилось в мире в этот день. Оружие, какого не видывал свет, обрушилось на желтых людей в Японии⁷¹. А в Агре Эмералд применила собственное секретное оружие. Было оно кривоногим коротышкой с плоской головой и с носом, который почти касался подбородка; оно, это оружие, мечтало о большом современном доме с канализацией, водопроводом и ванной возле кровати.

Майор Зульфикар не был окончательно уверен в том, что именно Надир Хан стоял за убийством Колибри, но ему не терпелось что-нибудь обнаружить. Когда Эмералд рассказала ему о подземном Тадж-Махале, выросшем посреди Агры, он так возликовал, что даже забыл рассердиться, и ринулся на Корнуоллис-роуд с отрядом из пятнадцати человек. С Эмералд во главе они ворвались в гостиную. Моя тетка: предательство на прекрасном лице, не прикрытые дупаттой плечи и широкие розовые шаровары. Азиз молча смотрел, как солдаты скатывают ковер и поднимают громоздкую крышку люка, а моя бабушка пыталась утешить Мумтаз: “Женщины должны выходить замуж за мужчин, – говорила она. – Не за мышей, как его-как его там! Нет стыда в том, чтобы оставить этого, как его там, червя”. Но дочка продолжала плакать.

А Надира-то в подполье и не оказалось! Догадавшись по первому воплю Азиза, что ожидает его, не в силах совладать со смущением, накатившим, как принесенный муссоном дождь, он исчез. Остался открытым люк в одном из туалетов – да, в том самом, почему бы и нет, где он обратился к доктору Азизу из своего гнездышка в бельевой корзине. Деревянное сооружение, “вместилище грома”, “трон”, завалилось набок, и пустой эмалированный горшок выкатился на коврик из кокосового волокна. Вторая дверь из туалета выходила на канаву у кукурузного поля, и дверь эта была открыта. Ее запирали снаружи, но только на сделанный в Индии замок, так что взломать ее не составило труда... а в уединенном Тадж-Махале, озаренном мягким светом ламп, – серебряная плевательница и записка, адресованная Мумтаз и подписанная ее мужем, содержащая три слова, шесть слогов, три восклицательных знака:

“Талак⁷²! Талак! Талак!”

⁷⁰ Али бен Абу-Тaleb (602–661) – четвертый халиф, племянник пророка Мухаммада и муж его дочери Фатимы.

⁷¹ Имеются в виду бомбардировки Хиросимы и Нагасаки в 1945 г.

⁷² Талак – развод, расторжение брака (*арабск.*). По мусульманскому праву, трехкратное возглашение этого слова супругом считается достаточным основанием для расторжения брака.

По-английски не передать громового звучания этих слов на урду, и все же вы знаете, что они означают. “Я развожусь с тобой. Я развожусь с тобой. Я развожусь с тобой”.

Надир Хан поступил как порядочный человек.

О ужасный гнев майора Зульфи, когда он понял, что птичка улетела! Вот как он видел мир: сквозь красную пелену. О ярость, сравнимая лишь с неистовством моего деда, хотя и выраженная отнюдь не столь величаво! Вначале майор Зульфи скакал вверх и вниз, обураваемый приступами бессильной злобы, наконец овладел собой и бросился через туалетную комнату, мимо трона, вдоль кукурузного поля к воротам, что выходили на улицу. Нигде не видно улепетывающего, пухлого, длинноволосого, безрифменного поэта. Взгляд налево: никого. Направо: ноль. Взбешенный Зульфи сделал свой выбор, метнулся мимо стоянки велосипедов. Старички играли в “плюнь-попади”, и плевательница стояла посреди дороги. А мальчишки скакали туда-сюда между струями бетелевого сока. Майор Зульфи бежал, вперед-вперед-вперед. Между стариками и их целью оказался он, но ему не хватило сноровки уличных сорванцов. Ах, злополучный миг: низко летящая плотная струя красного сока угодила ему прямо в промежность. Пятно в форме пятерни вцепилось в ширинку форменных штанов, надавило, остановило майора на всем скаку. Майор Зульфи застыл во всеокрушающем гневе. О, минута еще более злая: другой игрок, решив, что сумасшедший вояка пробежит себе мимо, пустил вторую струю. Вторая красная длань пожалала первую, и тем преисполнился день майора Зульфи... неспешно, рассчитывая каждое движение, он подошел к плевательнице и пинком опрокинул ее в пыль. Прыгнул на нее – раз! другой! еще! – смял в лепешку, стараясь не показывать, что ушиб ногу. Затем, собрав остатки достоинства, захромал прочь, к машине, припаркованной у дедова дома. Старички подняли подвергнутый надругательству резервуар и принялись тычками распрямлять его.

– Теперь, когда я выхожу замуж, – толковала Эмералд своей сестре Мумтаз, – просто некрасиво с твоей стороны, что ты даже не пытаешься выглядеть веселой. И ты должна поговорить со мной, обо всем рассказать. – Тут Мумтаз, хотя и улыбнулась младшей сестренке, но все же подумала, что Эмералд совсем обнаглела, раз ведет такие речи, и, может быть, нечаянно, чуть сильнее надавила на палочку хны, которой красила подошвы невесте. – Эй! – взвизгнула Эмералд. – Не дури! Я просто подумала, что мы бы могли как-нибудь подружиться.

После исчезновения Надир Хана отношения между сестрами стали несколько натянутыми, и Мумтаз отнюдь не обрадовалась, когда майор Зульфидар (который решил не предъявлять моему деду обвинения в укрывательстве разыскиваемого преступника и все уладил с бригадиром Додсоном) испросил соизволения взять в жены Эмералд и получил оное. “Это похоже на шантаж, – думала она. – И потом, как насчет Алии? Старшая дочь не должна выходить замуж последней, а поглядите только, с каким терпением ждет она своего коммерсанта”. Но Мумтаз промолчала, улыбнулась мягко, снисходительно, и все присущее ей от природы прилежание употребила на подготовку к свадьбе, согласившись даже, что следует веселиться вместе со всеми. Алия же продолжала ждать Ахмеда Синая. (“Она никогда не дождется”, – утверждает Падма: верно, так и есть.)

Январь 1946 года. Шатры, сласти, гости, песни, невеста в обмороке, церемонный, внимательный жених; прекрасная свадьба... во время которой коммерсант, торгующий кожей, Ахмед Синай, вдруг обнаружил, что до крайности увлечен беседой с недавно разведенной Мумтаз. “Вы любите детей? – Какое совпадение, я тоже...” – “И вы так и не заимели ребенка, бедная вы моя? Ну, по правде говоря, моя жена не могла...” – “Ах, неужели, какое горе для вас, и у нее, наверное, был скверный нрав!” – “О, чертовски скверный... ах, простите. Сильные чувства увлекли меня, заставили забыть...” – “Ничего страшного, не стоит переживать. Она была тарелки и все такое?” – “Была ли она тарелки? Однажды мы целый месяц ели с газеты!” – “Ах, нет, боже мой, что за небылицы вы рассказываете”. – “Ах, конечно, вы такая умная, вас не проведешь. Но тарелки она все-таки была”. – “Бедный вы, бедный”. – “Нет, это вы бедная,

бедная”. А в мыслях: “Такой милый парень – а с Алией всегда казался ужасно скучным...” И: “...Эта девочка, я даже не взглянул на нее ни разу, но, Боже правый, теперь...” И: “...сразу видно, он любит детей, и я бы могла...” И: “...что такого, что кожа темная...” Все заметили, что, когда дело дошло до песен, Мумтаз нашла в себе силы и стала подпевать, зато Алия не разжимала губ. Ей было больнее, чем ее отцу в Джаллианвала Багх, хотя на ее теле и не осталось никакого видимого знака.

“Что ж, печальная сестричка, ты все же сумела повеселиться”.

В июне того же года Мумтаз вторично вышла замуж. Ее сестра, последовав примеру матери, не сказала с ней ни слова до тех пор, пока, незадолго до смерти обеих, не увидела возможности отомстить. Адам Азиз и Достопочтенная Матушка безуспешно пытались убедить Алию, что такие вещи случаются, и лучше обнаружить это сейчас, чем после замужества, и что Мумтаз глубоко задета и ей нужен мужчина, чтобы прийти в себя... и потом, Алия ведь такая умница, с ней все будет хорошо.

– Но все-таки, все-таки, – твердила Алия, – невозможно же выйти замуж за книгу.

– Поменяй имя, – посоветовал жене Ахмед Синай. – Пора начать все сначала. Выбрось в окошко Мумтаз и ее Надир Хана, а я стану звать тебя по-другому. Амина⁷³. Амина Синай: ну, как, нравится?

– Как скажешь, так и будет, супруг, – ответила моя мать.

“В конце-то концов, – писала умница Алия в своем дневнике, – кому охота выходить замуж и покоряться чужой воле? Только не мне, нет, никогда”.

Миан Абдулла был фальстартом для многих оптимистов, его секретарь (чье имя запрещено было произносить в доме моего деда) – заблуждением для моей матери. Но в годы засухи многие посеянные семена не взошли.

– Так что же случилось с толстячком? – сердится Падма. – Ты что, не собираешься об этом рассказывать?

⁷³ Амина – имя матери пророка Мухаммада.

Публичное оглашение

Тогда начался несбыточный январь, и время как будто застыло, и такой неподвижной казалась его поверхность, словно 1947 год и вовсе не наступал. (Хотя, конечно же, на самом-то деле...) В этом месяце министерская миссия⁷⁴ – старый Петик-Лоуренс, умный Криппс, воинственный А. В. Александер – убедилась, что ее план передачи власти провалился. (Но, конечно же, на самом-то деле всего через несколько месяцев...) В этом месяце вице-король Уэйвелл⁷⁵ понял, что он – человек конченный, выброшенный на свалку, или, по нашему меткому выражению, спекшийся. (И это, конечно же, на самом-то деле только ускорило ход событий, поскольку на его место пришел последний из вице-королей, который...) В этом месяце мистер Эттли⁷⁶ был вроде бы сверх меры поглощен делами, решая будущее Бирмы совместно с господином Аунг Саном⁷⁷. (Хотя, конечно же, на самом-то деле он инструктировал последнего вице-короля перед тем, как было объявлено о его назначении; будущий последний вице-король встретился с королем и получил чрезвычайные полномочия, так что скоро, скоро...) В этом месяце Учредительное собрание⁷⁸ самораспустилось, так и не учредив Конституции. (Но, конечно же, на самом-то деле граф Маунтбеттен⁷⁹, последний вице-король, вот-вот заявится к нам с неумолчным тиканьем своих часов, с солдатским ножом, который натрое раскроит наш субконтинент, с женой, которая тайком поела цыплячи грудки, запершись в сортире.) И посреди этой зеркальной неподвижности, сквозь которую невозможно разобрать, как с натугой поворачиваются шестеренки большой машины, моя мать, новоявленная Амина Синай, которая, на первый взгляд, тоже не двигалась и не менялась, хотя великие дела творились у нее под кожей, однажды утром проснулась с головой, гудящей от бессонницы, и языком, обложенным от сна, который так и не приснился, и произнесла, сама того не желая: “Что здесь делает солнышко, о Аллах? Оно встало не там, где надо”.

...Я вынужден прервать рассказ. Не хотел я возвращаться к сегодняшнему дню, потому что Падма начинает нервничать, как только повествование мое заикливается на себе самом, как только, подобно неопытному кукольнику, я выставляю на обозрение руки, что дергают за веревочки, но я попросту обязан выразить свой протест. И вот, вторгаясь в главу, по случайной случайности названную “Публичное оглашение”, я желаю огласить (в самых по возможности сильных выражениях) следующее предупреждение для всех, нуждающихся в лечении: “Некий доктор Н. К. Балига, – собираюсь прокричать я, прокричать с крыш через громкоговорители, установленные на минаретах! – попросту шарлатан. Следует заточить его, отрубить ему голову, выбросить из окошка. Или хуже: подвергнуть собственному его шарлатанскому лечению – пусть гнойные прыщи и проказа выступят по всему его телу из-за неверно прописанных пилюль. Чертов дурак, – подчеркиваю я свою мысль, – не видит дальше собственного носа!”

Выпустив пар, я должен предоставить моей матушке еще немного поразмыслить над странным поведением солнца и объяснить, что наша Падма, обеспокоенная моими заявлениями-

⁷⁴ Министерская миссия – делегация британского кабинета, посетившая Индию в марте-июне 1947 г. Целью миссии были переговоры с лидерами крупнейших политических партий о будущем статусе Индии.

⁷⁵ Уэйвелл, Арчибалд Персиваль (1883–1950) – британский фельдмаршал (1943); граф (1947). В 1943–1947 гг. – вице-король Индии.

⁷⁶ Эттли, Клемент Ричард (1883–1967) – лидер лейбористской партии. В 1946–1951 гг. – премьер-министр Великобритании.

⁷⁷ Аунг Сан (1915–1947) – лидер национально-освободительного движения в Бирме в 1945–1947 гг. Первый глава правительства независимой Бирманской республики.

⁷⁸ Учредительное собрание было избрано по решению индийских лидеров и британских властей в июле 1946 г.

⁷⁹ Маунтбеттен, Льюис (1900–1979) – вице-король Индии. По его имени был назван Закон о независимости Индии (План Маунтбеттена) – декларация английского правительства от 3 июня 1947 г., в соответствии с которой Индия получила независимость и была разделена по религиозно-общинному принципу на два государства – Индийский Союз и Пакистан.

ями о том, что я разваливаюсь на части, втайне доверилась доктору Балиге – этому шаману! этому травнику! – и в итоге проклятый шарлатан, который недостойн того, чтобы я прославил его описанием, явился ко мне. Ни о чем не подозревая и желая сделать Падме приятное, я позволил осмотреть себя. Я должен был ожидать худшего: худшее и случилось. Возможно ли в такое поверить: мошенник объявил, что я здоров! “Не вижу никаких трещин”, – уныло пробубнил он, отличаясь от Нельсона при Копенгагене⁸⁰ тем, что у него не было ни единого зрячего глаза, и слепота его являлась не свободным выбором упрямого гения, но неодолимым проклятием собственного неразумия! В слепоте своей он оспаривал здравость моего рассудка, бросил тень сомнения на достоверность моих свидетельств и Бог-знает-что-еще: “Я не вижу трещин”.

В конце концов сама Падма спровадила его. “Не беспокойтесь, доктор-сахиб, – сказала Падма, – мы присмотрим за ним”. По лицу ее было заметно, что она признает свою дурацкую вину... да изыдет Балига, чтобы больше никогда не возвращаться на эти страницы. Но Боже мой! Неужто профессия врача – призвание Адама Азиза – упала столь низко? В выгребную яму, полную таких вот Балиг? В конце концов, по правде говоря, можно обойтись и без докторов... и я возвращаюсь назад, к причине того, что Амина Синай проснулась однажды утром с солнцем на губах.

– Оно встало не там, где надо! – невольно вскрикнула Амина, и потом, сквозь смутный гул в голове от скверно проведенной ночи, уловила наконец, что за этот несбыточный месяц пала жертвой обмана, ибо случилось вот что, и не более того: она проснулась в Дели, в доме нового мужа, где окна спальни выходили на восток, к солнышку; так что солнышко-то, по правде говоря, встало на месте, это она лежала не там, где надо... но даже после того, как ей удалось уловить эту простейшую мысль и сложить ее в одну кучу с другими подобными ошибками, которые она совершала с тех пор, как приехала сюда (путаница насчет солнца происходила каждое утро, будто мозг отказывался признать изменившиеся обстоятельства и новое, надземное расположение кровати), что-то продолжало ее смущать, не давало чувствовать себя как дома.

“В конце концов можно прожить и без отца”, – сказал доктор Азиз на прощание своей дочери, а Достопочтенная Матушка добавила: “Еще один сирота в семье, как его, но не переживай, Мухаммад был сиротой, да и твой Ахмед Синай, как его, по крайней мере наполовину, кашмирец”. Затем доктор Азиз собственноручно затащил зеленый жестяной сундук в купе, где Ахмед Синай ждал молодую жену. “Приданое не маленькое, но и не роскошное, – пояснил мой дед. – Мы не богачи, сам понимаешь. Но мы тебе дали достаточно, Амина же даст еще больше”. В зеленом жестяном сундуке: серебряные самовары, парчовые сари, золотые монеты, полученные доктором Азизом от благодарных пациентов, настоящий музей, экспонаты которого – исцеленные болезни и спасенные жизни. И вот доктор Азиз поднял дочь (собственными руками) и втиснул ее в купе вслед за приданым, препоручая заботам человека, давшего ей новое имя и тем самым заново сотворившего ее, то есть в некотором смысле ставшего ей отцом... и затем пошел (собственными ногами) по платформе, следом за поездом, пустившимся в путь. Будто рысак на эстафете, пробежавший свой этап, стоял он, окутанный дымом, затертый лоточниками, словно сошедшими со страниц комиксов, в суতোлке вееров из павлиньих перьев, горячих закусок, в вязком полусонном гомоне присевших на корточки носильщиков и в окружении глиняных зверей на тележках торговцев сувенирами, – а поезд набирал скорость, направляясь в столицу, стараясь как можно быстрее пробежать следующий этап эстафеты. А в купе новоявленная Амина Синай (сияющая, словно новенькая монета) сидела, поставив ноги на зеленый жестяной сундук, не поместившийся под скамейку.

⁸⁰ Нельсон, Горацио (1758–1805) – знаменитый английский полководец, вице-адмирал. В 1784 году был ранен в правый глаз. Поход на Копенгаген состоялся в 1801 г.

Опершись подошвами сандалий о музей отцовских достижений, она мчалась прочь, к новой жизни, оставив Адама Азиза позади, – а тот посвятил себя попыткам слить воедино достижения западной и традиционной медицины, и эти старания мало-помалу изнурили его: он уверился, что власть предрассудков, идолов и прочей магии никогда не иссякнет в Индии, потому что хакиды, местные лекари, не желают сотрудничать. С возрастом, когда мир утратил четкость очертаний, доктор стал сомневаться в собственных убеждениях, так что перед тем, как увидеть Бога – Азиза никогда не хватало ни на веру, ни на безверие, – он, наверное, уже ожидал чего-нибудь подобного.

Едва поезд отошел от станции, Ахмед Синай, вскочил с места и закрыл на все болты и задвижки дверь купе, к вящему изумлению Амины, но тотчас же снаружи послышались толчки, пальцы хватались за ручку двери, голоса молили: “Впусти нас, махарадж!⁸¹ Махараджин, ты едешь там, упроси мужа открыть”. И всегда-всегда, во всех поездах этой истории звенели эти голоса, стучали и молили кулаки – и в почтовом приграничном до Бомбея, и во всех экспрессах на протяжении долгих лет; это всегда пугало, пока наконец и я не оказался снаружи, цепляясь за поручень изо всех сил и упрасывая жалким голосом: “Эй, махарадж! Впустите меня, знатный господин”.

– Безбилетники, зайцы, – заметил Ахмед, но то были не просто зайцы. Они являли собой пророчество. Не заставили себя ждать и другие.

...А теперь солнце взошло не там, где надо. Моя мать лежала в постели, ей было не по себе, но она с волнением прислушивалась к тому, что творилось у нее внутри и что было пока ее тайной. Рядом смачно храпел Ахмед Синай. Он не страдал бессонницей, его ничем не прошибешь, разве что заботами, которые заставили притащить домой серую сумку, набитую деньгами, и спрятать ее под кроватью, улучив момент, когда, как он думал, Амина не видит. Мой отец спал крепко, окутанный целительным покровом величайшего дара моей матери, который на поверку стоил куда дороже, нежели содержимое зеленого жестяного сундука: Амина Синай принесла в дар Ахмеду свое неистощимое прилежание.

Никто не мог сравниться в этом с Аминой, никто никогда не прилагал столько усилий к чему бы то ни было. Темнокожая, с блестящими глазами, моя мать от природы была самой дотошной женщиной на земле. Она прилежно расставляла цветы в коридорах и комнатах своего дома в Старом Дели, ковры выбирались с бесконечным тщанием. Она могла потратить двадцать пять минут, переставляя туда-сюда кресло. Когда она закончила устройство дома, добавив несколько штрихов здесь, изменив кое-какие детали там, Ахмед Синай обнаружил, что его сиротское жилище преобразилось, исполнившись нежности и любви. Амина вставала раньше него, прилежание заставляло ее стирать пыль отовсюду, даже с бамбуковых штор (пока он не согласился употреблять для этой работы хамала⁸²), но Ахмед так и не узнал, что самым самоотверженным, самым решительным образом жена прилагала свои таланты не к внешней стороне их жизни, а к нему самому, Ахмеду Синаю.

Зачем она вышла замуж? Чтобы утешиться, чтобы иметь детей. Но первые бессонные ночи, от которых шумело в голове, отодвигали главную цель в неопределенное будущее, да и дети не всегда появляются сразу. А потому Амина стала видеть во сне и наяву лицо поэта, которого должна была изгнать из своих мыслей, и просыпалась, шепча имя, которое запрещено было произносить. Вы спросите: как она с этим справлялась? Я отвечу: стискивала зубы и упорно боролась с собой. Вот что она твердила себе: “Неблагодарная дура, или ты не видишь, кто теперь твой муж? Или не знаешь, как положено относиться к мужу?” Чтобы избежать бесплодных споров по поводу того, как следует отвечать на эти вопросы, скажу сразу, что, по мнению моей матери, женщина должна хранить нерушимую верность супругу и любить его

⁸¹ Махарадж – “великий царь” (почтительное обращение к вышестоящему лицу).

⁸² Хамал – носильщик, грузчик, посыльный, слуга.

беззаветно, от всего сердца. Но трудность состояла вот в чем: Амина, чья голова была отуманена Надир Ханом и бессонницей, не могла со всей искренностью предоставить Ахмеду Синаю эти две вещи. И, призвав на помощь свой дар прилежания, она стала приучать себя к тому, чтобы любить мужа. Для этого она мысленно разделила его на составляющие, имея в виду как телесный его облик, так и привычки, каталогизируя в уме и раскладывая по ящичкам очертание губ, любимые словечки, предрассудки и предпочтения... короче говоря, и на нее простерлась власть продырявленной простыни, что висела между ее родителями, ибо она решила влюбиться в мужа по частям.

Каждый день она выбирала какой-нибудь фрагмент Ахмеда Синая и сосредоточивалась на нем всем своим существом до тех пор, пока он не становился ей близким и родным, пока она не чувствовала, как из глубины души поднимается нежность, привязанность и, наконец, любовь. Так она приучилась обожать его чересчур громкий голос, от которого звенело в ушах и пробирала дрожь, и то, что он всегда пребывал в хорошем настроении до бритья, а после – неизменно, каждое утро – становился суровым и резким, вел себя деловито и отстраненно, и смутно-печальный взгляд его ястребиных глаз с тяжелыми веками, за которым, она была уверена, скрывается душевная доброта, и то, как выступает вперед его нижняя губа, и его малый рост, из-за которого он раз и навсегда запретил жене носить высокие каблуки... “Боже мой, – твердила она себе, – да ведь миллион разных вещей можно полюбить в каждом мужчине!” И она продолжала трудиться без устали. “Да и вообще, – рассуждала она наедине с собой, – кто может утверждать, будто познал до конца, целиком и полностью, другого человека?” – и прилежно старалась любить и обожать его пристрастие к жареной пище, обилие цитат из персидской поэзии, сердитую складку между бровями... “Таким образом, – рассуждала она, – я всегда смогу найти в нем что-нибудь новое и полюбить это, и, значит, наш брак никогда не застынет на мертвой точке”. Так, употребив старание, моя мать приноровилась к жизни в древнем городе. Жестяной сундук стоял, ни разу не открытый, в старом шкафу.

Ахмед ни о чем не догадывался, ничего не подозревал – а супруга неустанно трудилась над ним и его жизнью, и вот мало-помалу Синая стал походить на человека, которого он никогда не знал, а дом его – на подвальную комнату, в которой он никогда не бывал. Под влиянием кропотливого волшебства, столь темного, что сама Амина, возможно, и не догадывалась, какие силы творят его, волосы Ахмеда Синая поредели, а те, что остались, сделались прямыми и сальными, и он вдруг обнаружил, что по собственной воле отращивает их до самых мочек. И живот у него стал выпирать, пока не превратился в податливое, мягкое пузо, к которому меня так часто притискивали и которое никто из нас, по крайней мере сознательно, не сравнивал с пухлыми телесами Надир Хана. Зохра, троюродная сестра Ахмеда, однажды заметила игриво: “Сел бы на диету, кузен-джи, а то тебя никак не обнять!” Но все без толку... и мало-помалу Амина создала в Старом Дели мир, полный мягких подушек; занавесила окна так, чтобы в комнаты проникало как можно меньше света, на жалюзи набросила черную ткань – и все эти мелкие преобразования, выливаясь в геракловы труды, помогли ей свыкнуться с мыслью, что теперь она должна любить другого мужчину. (И все же ее посещали запретные сны о... и ее всегда тянуло к мужчинам с мягкими животиками и отросшими, обвисшими волосами.)

Новый город из Старого увидеть невозможно. В Новом городе раса розовокожих завоевателей выстроила дворцы из розового камня, но на узких улочках Старого города дома наклонялись, выставлялись вперед, елозили, закрывая друг другу вид на розоватые жилища облеченных властью. Впрочем, никто и не смотрел в ту сторону. В мусульманских кварталах, лепившихся вокруг Чандни-Чоук, люди охотнее обращали взгляды вовнутрь, в огороженные дворики своих жизней, с радостью опускали жалюзи на окнах и верандах. На узких улочках молодые бездельники держались за руки, сплетали пальцы, целовались при встрече, стояли плотным кольцом, касаясь друг друга бедрами, повернувшись вовнутрь. Тут не было зеленых лавок, и коровы не забредали сюда, зная, что тут их не почитают священными. Бесперывно

бренчали велосипедные звонки. И над всей этой какофонией разносились крики бродячих торговцев фруктами: “Люди, сюда ступа-а-айте, финики по-купа-а-айте”.

В то январское утро, когда мои мать и отец заимели друг от друга секреты, ко всему этому прибавился нервный перестук шагов г-на Мустафы Кемаля и г-на С. П. Бутта, а также назойливый рокот трещотки Лифафы Даса⁸³.

Когда перестук шагов впервые зазвучал в переулках квартала, Лифафа Дас с его кинескопом и барабаном был еще довольно далеко. Ноги, что пустились отбивать дробь по тротуару, вылезли из такси и зашагали по узким улочкам, а в это время в угловом доме моя мать у себя на кухне помешивала кхичри⁸⁴, которое готовила к завтраку, и прислушивалась к беседе моего отца с его троюродной сестрой Зохраной. Шаги прогрохотали мимо торговцев фруктами и тянущих руки попрошайек, а моя мать подслушала: “Никак я на вас, новобрачных, не могу наглядеться: такие вы сладкие!” Шаги приближались, а отец мой весь зарделся. В те дни он был еще недурен: нижняя губа не слишком выпирала, морщинка между бровями едва наметилась... и Амина, помешивая кхичри, услышала, как взвизгнула Зохрана: “Гляди, порозовел! Да какой же ты светлый, кузен-джи!” И тот включил для нее индийское радио, чего никогда не позволял делать Амине; Лата Мангешкар пела заунывную любовную песню, что-то вроде “Точно как я, ты-не-ду-у-у-маешь так”, а Зохрана продолжала: “Милые розовые детки рождаются у правильно подобранных пар, а, кузен-джи, – у красивых белых родителей, так ведь?” Шаги звучали, и варево булькало в кастрюле, и речи текли себе дальше: “Как ужасно уродиться черным, правда, кузен-джи, – просыпаться по утрам и видеть, как на тебя глядит из зеркала собственная твоя неполноценность! Конечно, черные все знают, черные ведь тоже понимают, что быть белым красивей, ты-не-думаешь-так?” Шаги уже совсем близко, и Амина топаёт в столовую с кастрюлей в руках, едва-едва себя сдерживает, думает: “Угораздило же ее явиться именно сегодня, когда я хотела сообщить новость, да еще и денег придется просить при ней”. Ахмед Синай любил, чтобы у него просили денег как следует, вымогали каждый грош ласками и сладкими словами, пока салфетка, лежащая на коленях, не начинала подниматься вместе со штуковинкой, шевелящейся в пижамных штанах, и Амина не возражала, благодаря своему прилежанию она приучилась любить и это тоже, и когда ей нужны были деньги, она гладила мужа и лепетала: “Джанум, солнце мое, пожалуйста...” и “Ну хоть немножко, чтобы купить вкусной еды и оплатить счета...” и “Ты такой щедрый, дай мне сколько захочешь, этого будет достаточно, я знаю”... уловки уличных попрошайек ей придется пустить в ход перед этой бабищей с глазами, как блюда, визгливым голосом и громкой болтовней про черных и белых. Шаги чуть не у самой двери, и Амина в столовой с горячим кхичри наготове, так близко от глупой Зохиной башки, что Зохрана вопит: “О, конечно же, присутствующие исключаются!” – просто на всякий случай, потому что она не уверена, подслушивала Амина или нет, и: “О, Ахмед, кузен-джи, какой ужас, неужто можно подумать, будто я имела в виду нашу милую Амину, она же вовсе и не черная, она просто как белая женщина, стоящая в тени!” Амина же, с кастрюлей в руках, смотрит на прелестную головку и думает: плеснуть, что ли? И – хватит ли духу? Но быстро успокаивается: “Это для меня великий день, и она первая заговорила о детях, так что теперь мне будет легче...” Но она опоздала: завывания Латы по радио заглушили звонок в дверь, и никто не слышал, как старый Муса, посыльный, пошел отпираться; Лата затушевала тревожный перестук шагов вверх по лестнице, но вдруг – вот они, уже на пороге, ноги г-на Мустафы Кемаля и г-на С. П. Бутта, шаркают и замирают.

– Мошенники нанесли нам оскорбление!

⁸³ Лифафа Дас – элемент “Дас” (раб) в индийской ономастике прибавляется либо к именам богов (Рам Дас – “раб Рамы”), либо к названиям священных объектов (Тулси Дас – “раб священного растения тулси”). Слово “лифафа” означает “маска, личина”.

⁸⁴ Кхичри – просяная каша.

Г-н Мустафа Кемаль – таких тощих людей Амина Синай еще не видела – выпаливает нелепую старомодную фразу (он привержен к тяжбам и в судах нахватался подобных оборотов) и развязывает цепную реакцию балаганной паники, а маленький, писклявый, мягкотелый С. П. Бутт, у которого в глазах пляшут дикие обезьяны, добавляет масла в огонь, произнеся одно-единственное слово: “Поджигатели!” И вот Зохра странным рефлексивным движением прижимает радиоприемник к груди, заглушая Лату своими сиськами и истошно вопя: “О боже, о боже, какие поджигатели, где? Здесь, в доме? О боже, я чувствую жар!” Амина застывает с кхичри в руках и глядит на двоих мужчин в деловых костюмах, а супруг ее, послав к чертям все секреты, встает, выбритый, но еще не одетый, из-за стола и спрашивает: “Что-то со складом?”

Склад, камора, пакгауз – называйте как хотите, но стоило Ахмеду Синаю вымолвить это слово, как в комнате воцарилась тишина, только, разумеется, голос Латы Мангешкар все еще исходил из ложбинки между грудей Зохры, ведь эти трое владели сообща одним таким обширным строением, расположенным в промышленной зоне на окраине города. “Только не склад, Боже сохрани”, – молилась про себя Амина, потому что торговля прорезиненными тканями и кожей шла хорошо – через майора Зульф리카ра, который стал теперь адъютантом Главного штаба в Дели, Ахмед Синай получил контракт на поставку кожаных курток и водонепроницаемых чехлов для армии, и огромные запасы материала, от которого зависела вся их жизнь, хранились в этом пакгаузе. “Но кто способен на такое? – стонала Зохра в унисон своим поющим грудям. – Что за безумцы нынче бродят на воле по белому свету?”... И тут Амина впервые услышала имя, которое муж от нее скрывал и которое в те времена вселяло ужас во многие сердца. “Это ‘Равана’”, – сказал С. П. Бутт... Но “Равана” – имя многоголового демона, да неужто же демоны снова населяют землю?⁸⁵ “Что это еще за чушь?” – Амина, унаследовав отцовскую ненависть к предрассудкам, требовала ответа, и г-н Кемаль ответил: “Так называет себя кучка ублюдков, госпожа: банда мерзавцев-поджигателей. Смутные времена настали, смутные времена”.

На складе – кожа, рулон за рулоном, и продукты, которыми торговал г-н Кемаль – рис, чай, чечевица; он их запасает, припрятывает по всей стране в огромных количествах, тем самым защищая себя от многоголового, многозевного, прожорливого чудища, то есть народа, – стоит пойти у него на поводу, и цены в урожайные годы упадут так низко, что богобоязненные коммерсанты станут голодать, а чудище – жиреть... “Экономика – это дефицит, – заверяет г-н Кемаль, – значит, мои запасы не только поддерживают цены на приличном уровне, но и являются фундаментом всего экономического здания”. А еще там, на складе, товары г-на Бутта, штабеля картонных коробок, на которых начертаны слова “Аг-Марка”. Надо ли говорить вам, что “аг” означает “огонь”. С. П. Бутт был производителем спичек.

– Наша информация, – изрекает г-н Кемаль, – касается лишь факта возгорания в том районе. Определенный склад не обозначен.

– Тогда почему это должен быть наш склад? – спрашивает Ахмед Синай. – Почему, ведь у нас еще есть время уплатить?

– Уплатить? – прерывает его Амина. – Кому уплатить? За что уплатить? Муженек, джанум⁸⁶, жизнь моя, что здесь происходит?

Но... “Нам нужно идти”, – говорит С. П. Бутт, и Ахмед Синай выбегает прямо в мятой пижаме, топчет по улице вместе с тощим и с мягкотелым, оставив позади несъеденное кхичри, женщин с вытаращенными глазами, приглушенную Лату и висящее в воздухе имя Раваны... “банда злодеев, госпожа, беспредельщики, головорезы, мерзавцы все до единого!”

И последние, дрожащим голосом произнесенные слова С. П. Бутта: “Проклятые индусы-поджигатели, бегам-сахиба. Но что мы, мусульмане, можем поделать?”

⁸⁵ Равана – повелитель демонов-ракшасов, десятиголовый и двадцатирукий великан, обладающий огромной силой.

⁸⁶ Джанум – дорогой, любимый.

Что известно о банде “Равана”? Она поддельвалась под фанатичное антимусульманское движение – в дни, предшествующие мятежам, что привели к разделению страны, в те дни, когда можно было по пятницам безнаказанно разбрасывать свиные головы во дворах мечетей, подобная позиция не казалась чем-то исключительным. Члены банды глубокой ночью писали лозунги на стенах Старого и Нового города: РАЗДЕЛЕНИЮ НЕТ – НАЖИВЕМ МНОГО БЕД! МУСУЛЬМАНЕ – ЕВРЕИ АЗИИ! и так далее. И банда сжигала дотла принадлежащие мусульманам фабрики, магазины, склады. Но кое-что известно не всем: под маской расовой ненависти скрывалось блестяще задуманное коммерческое предприятие. Анонимные телефонные звонки, письма, составленные из газетных заголовков, поступали к бизнесменам-мусульманам, которым предлагался выбор – единожды заплатить некую сумму наличными или оказаться на пепелище. Интересно, что банда соблюдала правила. Повторных требований никогда не поступало. Но дело свое они знали: нет серых сумок с отступными – и огонь пожирает витрины магазинов, фабрики, пакгаузы. Большинство платило, не рискуя довериться полиции. В 1947 году мусульмане вряд ли могли на нее положиться. И еще говорят (хотя в этом я не уверен), что к письмам вымогателей прилагался список “клиентов, получивших обслуживание”, то есть заплативших и сохранивших свой бизнес. Банда “Равана” вполне профессионально предъявляла рекомендации.

Двое мужчин в деловых костюмах и один в пижаме бежали по узким улочкам мусульманского квартала к Чандни-Чоук, где их ждало такси. Их провожали любопытными взглядами не только из-за контраста в одежде, но и потому, что они старались не бежать. “Не выказывайте паники, – сказал г-н Кемаль. – Ведите себя спокойно”. Однако ноги отказывались повиноваться и мчались вперед. Рывками, то набирая скорость, то заставляя себя переходить на прогулочный шаг, они покинули пределы квартала, встретив по пути молодого человека с черным металлическим кинетоскопом на колесах и продавленным барабаном: то был Лифафа Дас, направлявшийся к месту, где и состоялось публичное оглашение, давшее название этой главе. Лифафа Дас стучал в барабан и зазывал: “Идите поглядите, весь мир осмотрите, идите поглядите! Взгляните на Дели, взгляните на Индию, идите поглядите! Идите поглядите, идите поглядите!”

Но Ахмеду Синаю своих забот хватало.

Местные ребятишки придумали клички большинству обитателей квартала. Трое соседей именовались “боевыми петухами”, потому что в число их входили синдхский и бенгальский домохозяева, а между их домами вклинилось одно из немногих в квартале индусских жилищ. У синдха, выходца из провинции Синд, и бенгальца было мало общего – они говорили на разных языках и готовили разную пищу, – но оба были мусульманами и ненавидели внедрившегося между ними индуса. Со своих крыш они осыпали его дом отбросами. Высовывались из окон, выкрикивали оскорбления на разных языках. Подбрасывали обрезки мяса к его порогу ... а он, в свою очередь, нанимал мальчишек, которые кидали камни им в окна – камни, обернутые записками: “Погодите, – говорилось в них, – придет и ваш черед” ... Так вот, местные ребятишки никогда не звали моего отца его настоящим именем. Он был известен им как “тот тип, который не может идти вслед за собственным носом”.

Ахмед Синай так плохо ориентировался в пространстве, что, предоставленный самому себе, часто терялся в извилистых проулках своего квартала. Не раз беспризорные сорванцы натыкались на коммерсанта, блуждающего наугад, и за монетку в четыре анны⁸⁷ провожали его домой. Я упоминаю об этом потому, что думаю: склонность моего отца сворачивать не в ту сторону не только досаждала ему всю жизнь – она, видимо, и послужила причиной его увлечения

⁸⁷ Анна – монета, бывшая в обращении в Индии и Пакистане до перехода этих стран на десятичную денежную систему (Индия до 1 апреля 1957 г., Пакистан до 1 января 1961 г.) и равнявшаяся 1 / 16 рупии. 4 анны (чаванни) – серебряная монета, четверть рупии.

Аминой Синай (ведь благодаря Надир Хану она показала, что тоже гораздо поворачивать не туда); и, что еще важнее, его неспособность следовать за собственным носом передалась и мне, до некоторой степени затуманив носовитое наследие, полученное от других, так что долгие годы я не мог разнюхать, где лежит мой путь... Но хватит об этом: я дал трем дельцам достаточно времени, чтобы добраться до промышленного района. Хочу добавить только, что (и это, по моему мнению, тоже было следствием неумения ориентироваться в пространстве) вокруг моего отца даже в минуты триумфа витал душок будущего краха, запах каверзного, неверного поворота, который притаился буквально за углом, аромат, который невозможно было смыть самыми частыми омовениями. Г-н Кемаль, чужавший этот запах, шептал на ушко С. П. Бутту: “Эти кашмирцы, приятель, правду говорят, что они никогда не моются”. Подобный навет связывает моего отца с лодочником Таи... тем Таи, что в припадке самоубийственного гнева решил отречься от чистоты.

В промышленном районе под вой пожарных сирен мирно спали ночные сторожа. С чего бы это? Как же так? А все потому, что со сбродом из “Раваны” заключалась сделка: в ночь, когда банда совершала поджог, сторожей подкупали, и они принимали снотворное, а затем выносили свои раскладушки из зданий. Таким образом, бандиты не брали лишнего греха на душу, а ночные сторожа получали прибавку к своему скудному жалованью. То было полюбовное и весьма разумное соглашение.

Стоя среди спящих ночных сторожей, г-н Кемаль, мой отец и С. П. Бутт смотрели, как обращенные в пепел велосипеды поднимаются в небо густыми черными облаками. Бутт-отец-Кемаль встали рядом возле пожарных машин, и облегчение накатывало на них волною, потому что горел склад “Индийских велосипедов Арджуна”⁸⁸ – хотя продукция и носила имя героя индусской мифологии, все знали, что завод принадлежит мусульманам. Омытые волной облегчения, отец-Кемаль-Бутт вдыхали воздух, полный испепеленных велосипедов, кашляли и плевались, когда дым от дотла спаленных колес, облачком воспарившие призрак цепей-звонков-багажников-рулей, лишённые плоти рамы “Индийских велосипедов Арджуна” попадали к ним в легкие и извергались оттуда. Грубая картонная маска была прибита к телеграфному столбу напротив пылающего склада – многоликая маска, маска дьявола со множеством оскаленных лиц, с толстыми изогнутыми губами и ярко-алыми ноздрями. Лики многоголового чудища, царя демонов Раваны, сердито взирали на тела ночных сторожей, спавших так крепко, что ни у пожарных, ни у Кемалья, ни у Бутта, ни у моего отца не хватило духу их потревожить, а с небес на них сыпались окалина и пепел педалей и камер.

– Чертовски скверно обстоят дела, – заметил г-н Кемаль. Он не сочувствовал. Он осуждал владельцев компании “Индийские велосипеды Арджуна”.

Взгляните: дым пожарища (и облачко облегчения тоже) поднимается и сбивается в шар на блеклом утреннем небе. А теперь смотрите, как он движется на запад, к сердцу Старого города, как вытягивается, Боже правый, словно перст, указующий на мусульманский квартал возле Чандни-Чоук!.. Как раз в эту минуту Лифафа Дас криками зазывает народ в том самом проулке, где живут Синаи:

– Идите поглядите, весь мир осмотрите, идите поглядите!

Вот почти и настало время публичного оглашения. Не отрицаю, я взволнован: слишком долго ходил я вокруг да около, занимался подоплекой моей собственной истории, и хотя остались еще события, которые нельзя пропустить, все же приятно бросить взгляд в будущее. И вот с надеждой, с упованием слежу я за указующим перстом на небесах, опускаю взор на квартал, где живут мои родители, на велосипеды, на уличных торговцев, нахваляющихся во все горло жареный горошек в бумажных кульках, на держащихся за руки, плотной стеной стоя-

⁸⁸ Арджуна – третий по старшинству из пяти братьев Пандавов, героев “Махабхараты”. В культурном сознании индийцев Арджуна – непрекаемый эталон воинской доблести, сопричастный одновременно Высшей Божественной Мудрости.

щих попрошаек, на взметенный ветром мусор, на мух, снующих маленькими водоворотами вокруг лотков со сладостями, – все это уменьшенное до крошечных размеров, ибо мы смотрим с высоты небес. И дети, тучи детей, которых выманила на улицу трещотка Лифафы Даса, и его голос: “Дуния-декхо, посмотри на мир!” Голозадые мальчишки, девчонки без нижних сорочек и другие детки, поприветнее, в белых школьных рубашках, в шортах на эластичных поясах со змеевидной застежкой в форме буквы S, пухлые малыши с короткими, толстыми пальчиками – все сбились в кучу вокруг черного ящика на колесах, и среди них есть девочка с одной-единственной длинной и густой непрерывной бровью, нависающей над правым и левым глазом, – восьмилетняя дочь того самого грубияна-синдха, который уже водрузил у себя на крыше флаг пока еще воображаемого государства Пакистан⁸⁹; который даже сейчас осыпает соседа бранью, в тот момент, когда дочь его выскакивает на улицу с чаванни в руках, надменная, будто маленькая королева, со смертоносным словом, затаившимся за плотно сжатыми губками. Как ее зовут? Не знаю, но эти брови знакомы мне.

Лифафа Дас: кто по злосчастной случайности прислонил его черный кинетоскоп к стене, где была намалевана свастика⁹⁰ (в те дни они всюду попадались на глаза; экстремисты из РСС⁹¹ испещрили ими все стены – не нацистская свастика, обращенная противусолонь, а древний индийский символ власти. “Сvasti” на санскрите означает “добро”) ... Лифафа Дас, чье явление я возвестил, был молодой парень, совершенно невидимый до тех пор, пока не расплылся в улыбке, тогда он становился прекрасным, или пока не принимался бить в барабан, и тогда он делался неотразимым для детишек. Эти бродяги с барабанами по всей Индии кричат: “Дилли декхо” – “На Дели поглядите!” Но вокруг простирался Дели, и Лифафа Дас соответственно кричал по-другому: “Идите поглядите, весь мир осмотрите!” Гипербола со временем завладела его умом, все больше и больше открыток вкладывал он в кинетоскоп, предпринимая отчаянную попытку исполнить обещанное, все на свете вместить в свой ящик. (Мне на память вдруг пришел художник, друг Надир Хана: неужто все индийцы больны этой болезнью – неодолимым желанием замкнуть в капсулу весь зримый мир? Хуже того: не заражен ли ею и я?)

В кинетоскопе Лифафы Даса были картинки с Тадж-Махалом, с храмом Минакши⁹², со священным Гангом, но вместе с этими прославленными видами владелец волшебного ящика демонстрировал и более современные изображения – Стаффорд Криппс, покидающий резиденцию Неру; неприкасаемые, к которым прикасаются; образованные люди, в огромном количестве спящие на рельсах; рекламный кадр какой-то европейской актрисы с горою фруктов на голове – Лифафа Дас называл ее Кармен Веранда; даже приклеенная на картон фотография из газеты, изображающая пожар в промышленном районе. Лифафа Дас не собирался ограждать свою публику от не-всегда-приятных примет времени... и часто, когда он забредал в эти переулки, взрослые вместе с детьми выходили посмотреть, что новенького появилось в его ящике на колесах; среди постоянных клиентов была и бегам Амина Синай.

Но сегодня в воздухе носится истерия: какая-то неосознанная угроза опустилась на квартал, будто облако сожженных дотла индийских велосипедов повисло над головами... и вот свора спущена, зло вырвалось на волю, девочка с одной сплошной бровью визжит, по-детски

⁸⁹ Об образовании на территории Индостана особого государства индийских мусульман начали говорить еще в конце 1920-х – начале 1930-х гг. В 1933 г. пенджабский студент Чаудхури Рахмат Али предложил назвать эту страну “Пакистан” (“Страна чистых”). С этого момента лозунг “Создадим Пакистан!” становится основным лозунгом мусульманских националистов в Индии.

⁹⁰ Свастика – знак креста с загнутыми концами, символизирующий пожелание удачи и благоденствия. В ведийской и постведийской культуре получил название “свастика” (от “сvasti” (*санскр.*) – “Благо (тебе) да будет!”) и рассматривался как одна из эмблем Вишну.

⁹¹ РСС – “Раштрия сваямсевак сангх” – “Союз добровольных защитников страны” – полувоенная организация коммуналистского толка, созданная в 1925 г.

⁹² Храм Минакши – храмовый комплекс в честь богини Минакши (“Рыбоглазая” – почитаемое в Южной Индии воплощение богини Дурги).

картавя, хотя детской невинности в ней нет и в помине. “Я пегвая! Убигайтесь пгочь... дайте мне поглядеть! Мне не видно!” А глазенки уже приникли к отверстиям, дети следят за тем, как меняются открытки, и Лифафа Дас говорит (он не прерывает своей работы, крутит и крутит ручку, двигает открытки в ящике): “Одну минуточку, *биби*⁹³, до всех очередь дойдет, только чуточку подождите”. На что однобровая маленькая королева отвечает: “Нет! Нет! Я хочу быть пегвой!” Лифафа перестает улыбаться, становится невидимым, пожимает плечами. Неистойвой яростью пылает лицо маленькой королевы. И вот оно, оскорбление; смертельное острие дрожит на ее губах: “И ты, нахал, еще смеешь являться в этот квартал! Я тебя знаю, мой отец знает тебя, все знают, что ты индус!”

Лифафа Дас стоит молча, вертит ручку своего ящика, но однобровая, с конским хвостом валькирия распевает, тыча в него толстым пальцем, а мальчишки в белых школьных рубашках и с пряжками в виде змей подхватывают: “Индус! Индус! Индус!” И вот взмывают вверх жалюзи, и отец девочки высовывается из окна, вступает в свару, выкрикивает оскорбления, найдя новую мишень; бенгалец не остается в стороне и вопит по-бенгальски... “Потаскун! Насильник! Порочишь наших дочерей!” – вспомним, что в газетах как раз недавно писали о нападениях на мусульманских детей, так что внезапно слышится вопль – женский вопль, может быть, вопль глупой Зохраны: “Насильник! О мой Бог, они нашли негодяя! Попался!” И вот безумие облака, воздетого, словно указующий перст, и призрачность расшатанного века накрывают квартал, и вопли несутся из каждого окна, и мальчишки скандируют: “На-силь-ник! На-силь-ник! Нас-нас-нас-иль-ник!” – даже не постигая смысла этого слова. Детишки отпрянули от Лифафы Даса, и тот тоже двинулся прочь, таща свой ящик на колесах, надеясь скрыться, но его окружают голоса, жаждущие крови; уличные попрошайки направляются к нему; проезжие бросают велосипеды; цветочный горшок летит по воздуху и разбивается о стену рядом с ним; он прижимается спиной к чьей-то двери, а какой-то парень с сальной челкой на лбу нежно ему улыбается: “Так это вы, мистер? Мистер Индус, это вы бесчестите наших дочерей? Вы, значит, поклоняетесь идолам и спите с родными сестрами?” И Лифафа Дас: “Нет, ради всего святого...” – и глупо улыбается... и тут за его спиной отворяется дверь, и он валится назад, в темный прохладный коридор, где стоит моя мать Амина Синай.

Все утро она провела наедине со смешками Зохраны и отголосками имени демона Раваны, ведать не ведая, что творится там, в промышленном квартале, и ум ее блуждал на свободе, и она размышляла над тем, что весь мир, кажется, обезумел, и когда послышались вопли, и Зохрана, которую она не успела остановить, внесла свою лепту, что-то ожесточилось в ней, и Амина осознала, что она – дочь своего отца, ей явилось призрачное воспоминание о Надир Хане, который укрывался на кукурузном поле от ножей-полумесяцев, и в ноздрях у нее зашипало, и она бросилась вниз по лестнице – выручать, невзирая на истошный визг Зохраны: “Что ты делаешь, сестричка-джи, это же скотина, не пускай его сюда, ты что, потеряла рассудок?”... Моя мать открыла дверь, и Лифафа Дас ввалился внутрь.

Вообразите-ка себе ее этим утром: смуглая тень между беснующейся толпой и ее жертвой; лоно ей раздирает незримая, невысказанная тайна: “Вах, вах, – смеется она над толпой. – Ну и герои! Герои, ни дать ни взять! Всего пятьдесят против такого ужасного чудовища! О Аллах, глаза мои сияют от гордости”.

...А Зохрана: “Назад, назад, сестричка-джи!” А сальная челка: “Зачем защищаешь эту сволочь, бегам-сахиба? Нехорошо поступаешь”. И Амина: “Я его знаю. Он порядочный человек. Ступайте, ступайте прочь, разве вам нечем заняться? Здесь, в мусульманском квартале, вы собираетесь разорвать человека в клочья? Ступайте, не стойте здесь”. Но толпа оправилась от изумления и снова наступает... и вот. Вот оно пришло.

⁹³ Биби – госпожа, владычица.

– Послушайте, – крикнула моя мать. – Послушайте хорошенько. Я беременна. Я – мать, у меня будет ребенок, и я даю этому человеку убежище. Хотите убивать – давайте убейте заодно и мать, покажите всему миру, что вы за люди!

Таким вот образом мое явление – приход в мир Салема Синая – было оглашено перед скопившейся толпой еще до того, как об этом услышал мой отец. Похоже, с самого моего зачатия я сделался общественным достоянием.

Но хотя моя мать была права, сделав свое публичное оглашение, она все же ошибалась. И вот почему: ребенок, которого она носила, не станет ее сыном.

Моя мать приехала в Дели, прилежно трудилась над тем, чтобы полюбить мужа; Зохра, кхичри и перестук торопливых шагов помешали ей сообщить новость; она услышала крики, сделала публичное оглашение. Это подействовало. Благая весть о моем рождении спасла человеку жизнь.

Когда толпа рассеялась, старый Муса, посыльный, выбрался на улицу и подобрал кинетоскоп Лифафы Даса, Амина тем временем наливала парню со столь красивой его улыбкой стакан за стаканом свежей лимонной воды. Казалось, пережитый опыт не только иссушил его, но и наполнил горечью, потому что бедняга клал по четыре ложки сахара в каждый стакан, а Зохра тем временем в диком ужасе скорчилась на диване. И наконец Лифафа Дас (напитавшись лимонной водой, подсластившись сахаром) сказал:

– Бегам-сахиба, вы – великая женщина. Если позволите, я благословлю ваш дом и вашего будущего ребенка. Но также, пожалуйста, дайте соизволение, я хочу сделать для вас еще одну вещь.

– Спасибо, – сказала моя мать, – но вы вовсе ничего мне не должны.

Но он продолжал (сладкий сахар обволакивал ему язык):

– Мой двоюродный брат, Шри Рамрам Сетх, – великий провидец, о бегам-сахиба. Хиромант, астролог, предсказатель судьбы. Пожалуйста, придите к нему, и он откроет вам будущее вашего сына.

Колдуны меня предрекали... в январе 1947 года мою мать Амину Синаю одарили пророчеством в обмен на дар спасенной жизни. И несмотря на слова Зохры: “С ума ты сошла – иди куда-то с этим типом, Амина, сестричка, даже не думай об этом, в наше время надо быть осторожной”; несмотря на память об отцовском скептицизме, о том, как большой-указательный пальцы сомкнулись на ухе маулави, предложение это затронуло в моей матери некую струнку, и струнка та ответила за нее: “Да”. Амину застали врасплох посреди нерассуждающего изумления, каким сопровождалось открытие нового-с-иглолочки-материнства – только нынче утром она окончательно убедилась, что беременна, – и она произнесла:

– Да. Да, Лифафа Дас, будь добр, жди меня через несколько дней у ворот Красного форта⁹⁴. Отведешь меня к твоему двоюродному брату.

– Я буду ждать вас каждый день. – Он сложил ладони и вышел.

Зохра была так ошарашена, что, когда Ахмед Синай вернулся домой, всего лишь затрясла головой и сказала:

– Вы, новобрачные, оба сумасшедшие: муж и жена – одна сатана; лучше мне уйти, живите, как знаете!

Муса, старый посыльный, тоже держал рот на замке. Он всегда оставался на заднем плане наших жизней, всегда, кроме двух раз... один – когда он нас покинул, другой – когда вернулся, чтобы ненароком разрушить наш мир.

⁹⁴ Красный форт (“Лал Кила”) – цитадель в центре Дели, построенная Шах Джаханом в 1638–1648 гг. Вплоть до середины XIX в. являлся официальной резиденцией могольских императоров.

Многоголовые чудища

Если признать, что случайностей не бывает, а следовательно, Муса – какой бы он ни был старый и преданный – являл собою всего лишь бомбу с замедленным механизмом, которая тикает под сурдинку вплоть до назначенного часа, то это значит, что мы, истые оптимисты, должны запрыгать, ликуя, ибо, раз все продумано заранее, нам, стало быть, придается смысл, и не нужно уже бояться того, что мы живем наобум, без причины и цели; если же мы, наоборот, пессимисты, то можем прямо сейчас сложить руки и ничего не делать, понимая всю бесполезность мыслей-решений-действий – ведь думай не думай, а все равно ничего не изменится: чему суждено быть, то и будет. Так в чем же все-таки оптимизм? В судьбе или в сумятице? Был мой отец опти- или пессимистом, когда моя мать сообщила ему новость (которую слышали уже все соседи), а он ответил: “Говорил я тебе – это вопрос времени?” Похоже, беременность моей матери была предопределена судьбой, а вот в моем рождении немалую роль сыграл случай.

“Это вопрос времени”, – сказал мой отец, с виду весьма довольный, но время, насколько я успел это испытать, – вещь ненадежная, на него нельзя полагаться. Его ведь можно даже разделить, разграничить: часы в Пакистане поставлены на полчаса вперед по отношению к индийским часам... Г-н Кемаль, который ничуть не ратовал за разделение, любил повторять: “Вот доказательство безумия всего этого плана! Лига пытается оторваться, опередить нас на целых тридцать минут! Время неделимо, – кричал г-н Кемаль, – на том мы стояли и будем стоять!” А С. П. Бутт добавлял: “Если они могут так вот просто поменять время, что же тогда есть действительность? Что, я вас спрашиваю? Что есть истина?”

Кажется, сегодня день великих вопросов. Через зыбкую пелену лет я отвечаю С. П. Бутту, который перестал интересоваться временем, когда мятежные сторонники разделения перерезали ему глотку: “Действительность не всегда совпадает с истиной”. В дни раннего детства истиной для меня была некая скрытая подоплека историй, которые рассказывала мне Мари Перейра – Мари, моя нянька, которая значила для меня гораздо больше и гораздо меньше, чем мать, Мари, знавшая о нас все. Истина скрывалась за горизонтом, куда был обращен указующий перст рыбака, изображенного на картине, что висела у меня на стене; юный Рэйли слушал его рассказы. И теперь, когда я пишу в свете яркой угловой лампы, я соизмеряю истину с этими ранними впечатлениями: а как бы Мари рассказала об этом? Что поведал бы тот рыбак?... И по этим стандартам непререкаемой истиной является то, что в январе 1947 года моя мать узнала обо мне все за шесть месяцев до моего появления на свет, в то время как мой отец сражался с царем демонов.

Амина Синай ждала удобного момента, чтобы воспользоваться предложением Лифафы Даса, но после того, как был сожжен склад “Индийских велосипедов”, Ахмед Синай два дня сидел дома, не ходил даже в свою контору на Коннот-плейс, будто избегая какой-то неприятной встречи. Два дня серая сумка с деньгами лежала якобы спрятанная под кроватью с той стороны, где спал он. Мой отец явно не желал обсуждать причины, по которым здесь находилась эта серая сумка, и Амина сказала себе: “Ну и пусть, какая разница?”, потому что у нее тоже была своя тайна – человек, терпеливо ждущий ее у ворот Красного форта на вершине Чандни-Чоук. Надувая губки при мысли о своем тайном капризе, моя мать приберегала для себя Лифафу Даса. “Раз он ничего мне не рассказывает, почему я должна?” – возмущалась Амина.

И вот холодным январским вечером... “Мне нужно выйти сегодня”, – сказал Ахмед Синай и, несмотря на ее уговоры: “Такой холод, простудишься, заболеешь...”, надел деловой костюм и плащ, под которым таинственная сумка выпирала до смешного заметным брюхом, и в конце концов она сказала: “Закутайся хорошенько”, и отпустила его туда, куда он собрался идти, только спросив: “Ты поздно придешь?” На что он ответил: “Да, разумеется”. Через пять

минут после его ухода Амина Синай направилась к Красному форту, с головой погружаясь в свое собственное приключение.

Один путь начался от крепости, другой должен был кончиться в крепости, но этого не произошло. Один предсказал будущее, другой определил его географические координаты. На одном пути забавно плясали обезьяны, и в другом месте обезьяны тоже пустились в пляс, но это привело к катастрофе. И в том, и в другом приключении сыграли свою роль коршуны. Многоголовые чудища таились в конце каждой из дорог.

Итак, по порядку... Вот Амина Синай стоит у высоких стен Красного форта, откуда правили Моголы; отсюда, с этих высот скоро объявят о рождении новой нации... мать моя не была ни властительницей, ни вестницей, но ее встретили тепло (несмотря на погоду). Озаренный последним светом дня, Лифафа Дас восклицает: “Бегам-сахиба! О, как чудесно, что вы пришли!” Темнокожая, в белом сари, она приглашает парня в такси, тот хватается за заднюю дверцу, но водитель грозно рычит: “Что это ты придумал? Кем ты себя вообразил? Ну-ка давай, голубчик, садись вперед, пускай госпожа сядет на заднее сиденье!” И Амина втискивается сзади, рядом с черным кинетоскопом на колесах, а Лифафа Дас рассыпается в извинениях: “Вы простите меня, а, бегам-сахиба? Я хотел как лучше”.

Но вот, едва дождавшись своей очереди, другое такси тормозит возле другого форта, доставив в целости и сохранности троих мужчин в деловых костюмах, и у каждого под плащом туго набитая серая сумка... один – длинный, как день без завтрака, тощий, как скверно состряпанная ложь; второй кажется вовсе бесхребетным, а у третьего выпячена нижняя губа, живот похож на тыкву, сальные редеющие волосы спускаются до мочек ушей, а на лбу между бровями – предательская морщинка, которая с возрастом углубится, станет шрамом горечи и гнева. Таксист весь кипит, невзирая на холод. “Пурана кила!⁹⁵ – кричит он. – Выходите все, пожалуйста! Старый форт, приехали!” Было много, много разных Дели, и Старый форт с почерневшими развалинами – Дели такой древний, что наш собственный Старый город казался рядом с ним грудным младенцем. В эти-то невероятно древние руины привел Кемаля, Бутта и Ахмеда Синая анонимный телефонный звонок; им был отдан приказ: “Сегодня ночью, в Старом форте. Сразу после заката. И никакой полиции... иначе склад взлетит на воздух!” Вцепившись в серые сумки, они вступили в древний, осыпающийся мир.

...Вцепившись в свою сумочку, моя мать сидит рядом с кинетоскопом, а Лифафа Дас едет на переднем сиденье, подле сбитого с толку, сердитого шофера, и указывает дорогу в лабиринте улиц по ту сторону от Главного почтамта, и по мере того, как она проникает все глубже в проулки, где нищета, словно бурный поток, разъедает асфальт, где люди влачат жизнь невидимок (над ними, как и над Лифафой Дасом, тяготееет это проклятие, но не все умеют так красиво улыбаться), новое ощущение охватывает ее. Под давлением этих улиц, становящихся с каждой минутой все уже, все многолюднее с каждым дюймоном, она утрачивает “городской взгляд”. Если вы смотрите городским взглядом, вы не видите невидимых людей, и тогда мужчины с безобразно раздутыми от слоновой болезни мошонками или нищие калеки в тележках не встречаются на вашем пути, а бетонные выемки для будущих сточных труб ничем не напоминают спальни. Моя мать потеряла свой городской взгляд и от новизны открывшегося ей зрелища раскраснелась; новизна эта, словно град и ветер в лицо, щипала ей щеки. Гляньте-ка, Боже мой, у этих прелестных детишек черные зубы! Подумать только... девочки ходят с голой грудью! Какой ужас, право! И, упаси Аллах, убереги Господь, метельщицы улиц, – нет, какой кошмар! – спины согнуты, пучки прутьев в руках, нет знака касты; неприкасаемые, Боже правый!.. и всюду калеки, которых изувечили любящие родители, дабы обеспечить им пожизненный доход от нищенства... да, нищие в тележках, взрослые мужчины с ножками ребенка, в

⁹⁵ Старый форт (“Пурана кила”) – крепость в Старом Дели близ берега Джамны, построенная в правление Шер-шаха (1539–1545).

тачках, сработанных из выброшенных роликов и старых ящиков из-под манго; моя мать вскрикивает: “Лифафа Дас, поворачиваем обратно!”... Но он улыбается своей прекрасной улыбкой и заявляет: “Отсюда пойдем пешком”. Поняв, что сразу ей не уехать, Амина просит таксиста подождать, и тот бурчит недовольно: “Да, конечно, что еще остается делать, как не ждать такую великую госпожу, а когда вы явитесь, придется тащиться задним ходом до самого шоссе, поскольку здесь мне не развернуться!”... Детишки дергают ее за подол сари, отовсюду высовываются головы, глаза пристально глядят на мою мать, а та думает: “Будто бы тебя окружает какое-то жуткое чудище с сотнями, тысячами, миллионами голов, – но она быстро приходит в себя: – Нет, какое там чудище, просто бедные, бедные люди – что с них взять? Есть в них некая мощь, сила, не сознающая себя, возможно, впавшая в бессилие от долгого неупотребления... Нет, эти люди не впали в бессилие несмотря ни на что. Мне страшно”, – невольно всплывает мысль, и в этот момент кто-то трогает ее за плечо. Она оборачивается и смотрит в лицо – возможно ли! – белого человека: тот протягивает шершавую руку и произносит голосом звонким, как чужестранная песня: “Подайте, бегам-сахиба...” – твердит, твердит и твердит эти три слова, будто старая заезженная пластинка, и Амина смущенно вглядывается в белое лицо, видит длинные ресницы и нос с патрицианской горбинкой; она смущена потому, что это белый человек, а белые люди не просят милостыню. “Всю дорогу от Калькутты пешком, – тянет он нараспев, – посыпав голову пеплом, как вы видите, бегам-сахиба – от стыда, ибо там оказался я из-за резни, – помните, бегам-сахиба? В прошлом августе... тысячам перерезали горло за четыре дня, полных воплей, и стонов, и хрипов...”⁹⁶ Лифафа Дас стоит рядом, не зная, что делать, как обращаться с белым человеком, хоть бы и нищим, и... “Слыхали ли вы про белого? – спрашивает бродяга. – Да, среди убийц, бегам-сахиба, он блуждал по городу в ночи с кровавыми пятнами на рубашке, белый человек, лишившийся рассудка из-за грядущего ничтожества себе подобных, – слыхали, а?”... И умолкает на минуту странно певучий голос, а потом раздается опять: “То был мой муж”. Только теперь моя мать различает высокую грудь под лохмотьями... “Подайте, сжальтесь над моим позором”. Тянет ее за руку. Лифафа Дас тянет за другую руку, шепчет: “Это хиджра⁹⁷, скопец поганый; пойдемте, бегам-сахиба”, – но Амина стоит как столб; ее тянут в разные стороны, а ей хочется сказать: “Погоди, белая женщина, дай мне закончить то, за чем я пришла, а потом заберу тебя в мой дом, накормлю, приодену, верну в привычный тебе мир”, но в этот самый миг женщина пожимает плечами и несолоно хлебавши уходит по сужающемуся проулку, уменьшается, съезживается на глазах, превращается в точку и – вот! – исчезает в жалкой клоаке. А Лифафа Дас с каким-то невиданным выражением на лице восклицает: “Они все спеклись! Им конец! Скоро все они уберутся отсюда, и тогда мы сможем вволю убивать друг друга”. Легонько дотронувшись до своего живота, Амина следует за ним в темный дверной проем, и лицо у нее горит.

...А в это время в Старом форте Ахмед Синай ждет “Равану”. Мой отец в свете заката: он стоит в темном дверном проеме полуразрушенной комнаты в осыпающейся стене форта, пухлая нижняя губа выпирает, руки сцеплены за спиной, голова полна забот о деньгах. Он никогда не был счастливым человеком. Всегда от него чуть-чуть припахивало будущим крахом, он тиранил слуг, возможно, жалел, что когда-то ему не хватило духу оставить торговлю кожей, начатую покойным отцом, и посвятить себя подлинному призванию – перекомпоновке Корана в строгом хронологическом порядке. (Однажды он сказал мне: “Когда Мухаммад изрекал свои пророчества, люди записывали его слова на пальмовых листьях, которые затем как попало складывали в ларец. После того как пророк умер, Абу Бакр⁹⁸ и другие пытались при-

⁹⁶ Речь идет о кровавых индо-мусульманских погромах, вспыхнувших в августе 1946 г. в Калькутте и ее окрестностях. Непосредственным поводом для этих погромов послужило заявление лидера Мусульманской Лиги М. А. Джинны, объявившего 10 августа 1946 г. днем начала “прямой борьбы за Пакистан”.

⁹⁷ Хиджра – евнух, трансвестит.

⁹⁸ Абу Бакр, Абдаллах ибн Осман (572 / 573–634) – первый халиф (632–634). Ближайший соратник и преемник Мухам-

помнить правильный порядок, но память часто их подводила”. Снова он свернул не туда: вместо того чтобы переписывать священную Книгу, скрывается в руинах, ожидая демонов. Стоит ли удивляться, что он не был счастливым и мое рождение не помогло. Едва появившись на свет, я сломал ему большой палец на ноге.)...Итак, повторяю, мой отец предается горестным размышлениям о деньгах. О жене, которая вымогает рупии, а по ночам обчищает его карманы. О бывшей жене (которая в конечном итоге погибла от несчастного случая: пререкалась с погонщиком верблюдов, и верблюд укусил ее в шею) – она пишет длиннющие письма, без конца клянчит деньги, несмотря на достигнутое при разводе соглашение. И троюродная сестра Зохра хочет, чтобы он дал ей приданое – она родит и вырастит сыновей и дочерей, те переженятся и выйдут замуж за его детей и еще глубже запустят лапы в его кассу. А вот майор Зульфикар обещает большие деньги (в те времена майор Зульфикар с моим отцом весьма ладили). Майор писал отцу: “Ты должен решиться и уехать в Пакистан, когда его создадут, чего не миновать. Для таких, как мы, это будет настоящее золотое дно. Хочешь, представлю тебя самому М. А. Дж...” – но Ахмед Синай не доверял Мухаммаду Али Джинне⁹⁹ и не принял предложения Зульфи; так что, когда Джинна стал президентом Пакистана, оказалось, что мой отец опять пропустил нужный поворот. И, наконец, приходили письма от старого друга отца, гинеколога доктора Нарликара из Бомбея. “Британцы отплывают косяками, Синай-бхай¹⁰⁰. Недвижимость дешевле грязи! Продавай все, приезжай сюда, скупай и живи остаток дней в роскоши!” Стихи Корана не находили места в голове, полной денежных расчетов... а между тем вот он стоит, мой отец, рядом с С. П. Буттом, который умрет в поезде по дороге в Пакистан, и Мустафой Кемалем, которого растерзает толпа в его собственном большом доме на Флэгстафф-роуд, там он и останется бездыханный, с надписью на груди: “Паскудный жмот”, выведенной его собственной кровью... мой отец стоит рядом с двумя обреченными, стоит и ждет в тени руин, чтобы подсмотреть, как шантажисты придут забирать его деньги. “Юго-западный угол, – сказали по телефону. – Башня. Каменная лестница внутри. Нужно подняться. Последняя площадка. Там оставить деньги. Уйти. Понятно?” Презрев приказ, они прячутся в полуразрушенной комнате; где-то над ними, на последней площадке угловой башни, три серые сумки ждут в сгущающейся мгле.

...В сгущающейся мгле душевной лестницы Амина Синай поднимается к пророчеству. Лифафа Дас подбадривает ее – теперь, когда она сдалась на его милость, въехав на такси в узкое горлышко квартала, он почувствовал, что женщина дрогнула, пожалела о своей решимости – и по пути наверх он ее успокаивает. Темная лестница полна глаз, сверкающих сквозь щелястые двери, услаждающих себя видом смуглой госпожи, взбирающейся наверх; облизывающих ее, словно блестящие, шершавые языки кошек; Лифафа утешает, уговаривает, а моя мать чувствует, как воля покидает ее: “Будь что будет”, – но сила духа и трезвый взгляд на мир всасываются темной губкой затхлого воздуха лестничной клетки. Вяло переступает она ногами, следуя за своим провожатым на самый верх колоссального мрачного проема в полуразрушенном многоквартирном доме, где Лифафа Дас с двоюродными братьями снимают крохотный угол... там, высоко, смутный свет пробивается сквозь щели, падает на головы выстроившихся в шеренгу калек. “Мой другой брат, – объясняет Лифафа Дас, – костоправ”. И она проходит мимо мужчин со сломанными руками, женщин, чьи ноги заломлены назад под невозможным углом, мимо рухнувших с высоты мойщиков окон и разбившихся каменщиков; она, дочь врача, проникает в мир, который древнее шприцев и больниц, и вот наконец Лифафа Дас возвещает: “Мы пришли, бегам”, – и ведет ее через комнату, где костоправ привязывает ветки и листья к раздробленным членам, заворачивает расколотые головы в кроны пальм, так что пациенты становятся

мада.

⁹⁹ Мухаммад Али Джинна (1876–1948) – лидер мусульманского движения в Индии. Один из основателей Мусульманской Лиги.

¹⁰⁰ Бхай – брат, братец.

похожи на искусственные деревья, настолько буйно расцветают их раны... еще выше, на плоскую просторную железобетонную крышу. Амина, моргая в ярком свете фонарей, различает бредовые очертания – пляшущие обезьяны, скачущие мангусты, змеи, выющиеся в корзинах, а на парапете – силуэты больших птиц; нахохленные, суровые, они изогнуты так же жестоко, как и их клювы: стервятники.

– Арре бап, – кричит она, – куда ты меня ведешь?

– Не бойтесь, пожалуйста, бегам, – отвечает Лифафа Дас. – Там живут мои братья – троюродные и четвероюродные. Один водит обезьян...

– Я как раз их дрессирую, бегам! – раздается голос. – Смотрите: обезьяна идет на войну и умирает за родину!

– ...А другой работает со змеями и мангустами.

– Смотрите, как прыгает мангуст, сахиба! Смотрите, как танцует кобра!

– Но откуда птицы?..

– Да это так, госпожа: тут, у парсов, Башня безмолвия¹⁰¹, совсем рядом, и когда там нет мертвецов, стервятники прилетают сюда. Сегодня они спят; иногда, мне кажется, им нравится смотреть, как мои братья работают.

Маленькая комнатка на дальнем конце крыши. Лучи света просачиваются сквозь дверь, в которую входит Амина... За дверью – мужчина того же возраста, что ее муж, тучный, со множеством подбородков, в покрытых пятнами белых штанах, в красной клетчатой рубашке, босой; он жует анисовое семя и прихлебывает из бутылки “Вимто”¹⁰², сидит, скрестив ноги, в комнате, стены которой увешаны изображениями Вишну во всех его аватарах¹⁰³, а еще объявлениями: ЗДЕСЬ УЧАТ ПИСАТЬ и ПЛЕВАТЬ НА ПОЛ – ДУРНАЯ ПРИВЫЧКА. Мебели никакой нет... и Шри Рамрам Сетх сидит, скрестив ноги, в шести дюймах над уровнем пола.

Должен признаться, к вящему ее стыду, моя мать закричала...

...А в это время в Старом форте обезьяны кричали на валу. Разрушенный город, покинутый людьми, стал приютом для мартышек. Длиннохвостые чернолицые обезьяны завладели всем зданием, сверху донизу. Вверх-вверх-вверх залезают они, запрыгивают на самые высокие точки, сражаются за место обитания, а после принимаются разбирать по камушку крепость. Падма, это правда: ты ведь никогда там не была, ты не стояла в полутьме, не глядела, как, стараясь из последних сил, эти мохнатые твари выламывают камни – тянут и раскачивают, раскачивают и тянут, один за другим, один за другим... каждый день обезьяны скатывают камни вниз по стенам – и эти камни отскакивают от углов и осыпей, падают в канавы. Придет день, и не будет больше Старого форга, лишь куча мусора, а на ней – обезьяны, криками празднующие победу... и есть среди них одна, крадущаяся вдоль вала – пусть это будет Хануман, предводитель обезьяньего войска, который помог царевичу Раме одолеть настоящего Равану, Хануман, что управляет летающими колесницами¹⁰⁴... Смотрите, как он спешит к этой башне – к своей территории, как он прыгает, голосит, обегает от стены к стене все свое царство, чешет зад о камни – и вдруг замирает, учуяв нечто, чего здесь не должно быть... Хануман бросается к нише, на самую верхнюю площадку, где трое мужчин оставили три мягких серых чужеродных предмета. И пока обезьяны танцуют на крыше за зданием почты, обезьяний царь Хануман исполняет пляску гнева. Набрасывается на серые штуковины. Ого, да они совсем легкие, не нужно раскачивать и тянуть, тянуть и раскачивать... смотрите, как Хануман тащит мягкие серые

¹⁰¹ Переселившиеся в Индию зороастрийцы, парси, размещают тела своих покойников на ярусах особой башни, где их поедают коршуны-стервятники (кости потом ссыпаются в специальный колодец); таким образом, “чистые” элементы стихий (вода, огонь, земля и воздух) не соприкасаются с “нечистым” трупом.

¹⁰² “Вимто” – сорт лимонада.

¹⁰³ Согласно верованиям индийцев, почитающих Вишну в качестве верховного божества, Вишну за прошедшее время девять раз “нисходил” на землю, воплощаясь в териоморфном или антропоморфном облике.

¹⁰⁴ Хануман в “Рамаяне” Вальмики – соратник Рамы в борьбе за возвращение похищенной Ситы.

камни к самому краю длинного ската внешней стены форта. Смотрите, как он разрывает их: крик! крэк! крок!.. Смотрите, как ловко извлекает он бумажные потроха из этих серых предметов: пусть себе сыплются дождем на камни, уже поверженные в ров!.. Бумажки летят не спеша, с ленивой грацией, и погружаются, как дивные воспоминания, в лоно тьмы, и вот – бух! плюх! еще раз бух! – три мягких серых камня летят через бортик, вниз-вниз во тьму, и напоследок слышится тихий безутешный шлепок. Хануман, сделав свое черное дело, теряет к нему интерес, убегает на одну из вершин своего царства и принимается раскачивать камень.

...И в это время снизу из-под стены мой отец увидел гротескную фигуру, выступающую из темноты. Не зная ничего о катастрофе, свершившейся наверху, он наблюдает за чудищем из полуразрушенной комнаты: какая-то тварь в лохмотьях, в маске демона: картонные лица скалятся со всех сторон... это пришел человек от банды “Равана”. Чтобы забрать деньги. С бьющимися сердцами трое бизнесменов смотрят, как призрак из кошмарного сна безграмотных крестьян исчезает в пролете лестницы, ведущей к той, верхней площадке, и через мгновение в гулкой ночной тишине слышат из уст демона вполне человеческую брань: “Мать вашу! Ах вы, кастраты!” ...Ничего не понимая, видят, как их нелепо выраженный мучитель появляется в дверном проеме, вываливается в темноту, пропадает. Его ругательства... “Сранные ослы! Свинячьи дети! Говноеды!”... доносит легкий ветерок. И они бегут наверх в диком смятении; Батт находит серый лоскут; Мустафа Кемаль склоняется над смятой рупией, и может быть – да, почему бы и нет? – мой отец улавливает краем глаза темную, расплывчатую тень обезьяны... и они все понимают.

И вот они вопят и стонут, и г-н Бутт визгливо ругается, вторя проклятиям демона, и в головах у всех троих бушует немая битва: деньги или склад, склад или деньги? Коммерсанты раздумывают, объятые тихой паникой, над головоломкой: но даже если они и оставят выкуп на милость уличных псов и бродяг, как удержать поджигателей? И наконец, при полном молчании, неодолимая сила наличности одерживает верх, и они стремглав спускаются вниз по каменным ступеням, через заросшие травой лужайки, в разрушенные ворота, и скатываются – ВПЕРЕМЕШКУ! – в ров, хватают рупии, набивают ими карманы: загребают, прочесывают, скребут, не обращая внимания на лужи мочи и горы гнилых фруктов, лелея несбыточную надежду, что этой ночью – милостью Всемогущего – только этой, одной-единственной ночью, банда не исполнит своей угрозы. Но, конечно же...

...Но, конечно же, на самом деле Рамрам-провидец не парил в воздухе в шести дюймах от пола. Моя мать затихла, взглянула пристальней и разглядела маленькую полку, выступающую из стены. “Дешевый трюк, – сказала она себе, а потом: – Что я делаю в этом Богом забытом месте, где спят стервятники и пляшут обезьяны; чего жду от гуру, который левитирует, сидя на полочке, каких глупостей способен он наговорить?”

Амина Синай не знала, что второй раз во всей этой истории я вот-вот заявлю о своем присутствии. (Нет, не зародыш-обманка у нее в животе, а я, именно я, в моей исторической роли, о которой писали первые министры: “...он, в некотором смысле, является зеркалом всех нас”. Великие силы действовали этой ночью, и все присутствующие ощущали их мощь и трепетали.)

Двоюродные братья – все четверо – столпились в дверном проеме, через который прошла смуглая госпожа, слетелись, как мотыльки к свече, на ее хриплый, зловещий крик... спокойно смотрели костоправ, укротитель кобр и дрессировщик обезьян, как она продвигается вперед, как Лифафа Дас ведет ее к ни на что не похожему предсказателю судьбы. Шепотом подбадривали ее (а может, и хихикали, прикрывшись натруженными ладонями?): “Ах, какую дивную судьбу он предскажет, сахиба!” и “Ну, давай же, кузен-джи, госпожа ждет!”... Но кто такой этот Рамрам? Базарный шут, грошовый хиромант, предрекающий сладкую жизнь глупым бабам, или настоящий держатель ключей? А Лифафа Дас – видел ли он в моей матери женщину, которая удовольствуется фальшивым факиром ценою в две рупии, или же он сумел

заглянуть глубже и узреть таящуюся в подполье сердечную слабость? И когда пророчество явилось на свет, были ли братья также изумлены? А пена у рта? Что вы на это скажете? И правда ли, что моя мать, под обескураживающим влиянием этого истерического вечера, несколько ослабила железную хватку, которой сжимала свою истинную природу, и та вырвалась на волю; темный, безвидный воздух на лестнице всосал ее, словно губка, – и душа Амины пришла в такое состояние, когда все может случиться наяву и во все можно поверить? Есть другая ужасная возможность, но до того, как огласить свое жуткое подозрение, я должен описать все как можно точнее, несмотря на тонкий, пленчатый занавес двусмысленностей; да, я должен описать Амину Синай, ее ладонь, косо протянутую навстречу хироманту, ее глаза, широко распахнутые, немигающие, похожие на кусочки лакрицы, – а братья при этом (хихикая?): “Как чудесно он прочтет тебе судьбу, сахиба!” и “Ну, говори же, кузен-джи, говори!” Но занавес опять падает, так что я не уверен, начал ли он как дешевый цирковой базарный шарлатан, склоняя на все лады необходимые банальности о линиях жизни, линиях сердца и детях-мультимиллионерах, в то время как братья поддерживали его криками: “Вах-вах!” и “Вот это мастер, йара!”, а потом – изменился ли он потом? – Рамрам застыл неподвижно, глаза его закатились под лоб, сделались белыми, как два яйца, спросил ли он голосом странным, словно исходящим из глубины зеркал: “Вы позволите, госпожа, прикоснуться к тому месту?” – и братья умолкли, стали похожи на спящих стервятников, и ответила ли моя мать тем же странным голосом: “Да, позволю”, и провидец оказался третьим мужчиной за всю ее жизнь, который дотрагивался до нее, не считая членов семьи, – тогда ли, в тот ли самый момент мгновенный, резкий разряд электричества прошел между толстыми, короткими пальцами и кожей Амины? И лицо моей матери, лицо испуганного зайчишки, когда она увидела, как пророк в клетчатой рубашке начинает кружиться и глаза его, все еще белые, как яйца, тускло светятся на пухлом лице, и вдруг по нему пробегает дрожь, и снова раздается странный высокий голос, и слова исходят из губ (эти губы я тоже опишу, но позже, потому что сейчас...): “Сын”.

Братья умолкли; обезьяны на сворках тоже прекратили лопотать, кобры свернулись в корзинах – и устами кружащегося прорицателя заговорила сама история. (Так ли это было?) Вначале: “Сын... да еще какой сын!” И вот оно началось: “Сын, сахиба, который никогда не станет старше своей отчизны – ни старше, ни моложе”. И теперь по-настоящему испугались укротитель змей, дрессировщик мангустов, костоправ и владелец кинетоскопа, ибо они никогда не слышали от Рамрама подобных речей, а тот продолжает, нараспев, высоким фальцетом: “Будут две головы – но ты увидишь только одну, – будут колени и нос, нос и колени”. Нос и колени, колени и нос – слушай внимательно, Падма, этот тип ни в чем не ошибся!.. “Газеты его прославляют, две матери млеко питают! Велосипедистка его полюбит, но толпа едва не погубит! Сестры горько рыдают, кобра из тьмы выползает...” Рамрам кружится все быстрее-быстрее, а четверо братьев перешептываются: “Что же это, баба?” и “Боже милостивый, Шива, сохрани нас!” А Рамрам: “Корзина ему даст приют – его голоса поведут! Друзья изувечат, играя, – кровь потечет, предавая!” И Амина Синай: “О чем это он? Я не понимаю. Лифафа Дас, что это с ним?” Но неумолимо, блестя скорлупою глаз, крутясь вокруг женщины, застывшей, как статуя, продолжает Рамрам Сетх: “Плевательница ему череп пробьет – соки свора врачей извлечет – джунгли его позовут – колдуньи своим назовут! Солдаты его пытаются, тираны огнем испытают...” Амина умоляет объяснить, что все это значит, а братья, впад в неистовство, хлопают в ладоши в бессильной тревоге, ибо что-то снизошло на всех и никто не смеет коснуться Рамрама Сетха, который кружится все быстрее и наконец доходит до высшей точки: “Он будет иметь сыновей и не будет иметь сыновей! Он состарится, не став стариком! И умрет... не став мертвецом”.

Так это было или нет? Тогда ли Рамрам Сетх, совершенно разбитый прошедшей через него силой, куда большей, чем его собственная, вдруг рухнул на пол с пеной у рта? Вложили

ли ему между скрежещущих зубов тросточку дрессировщика мангустов? Сказал ли Лифафа Дас: “Бегам-сахиба, оставьте нас, пожалуйста: нашему брату-джи совсем худо”?

И, наконец, укротитель кобр – или дрессировщик обезьян, или костоправ, или даже сам Лифафа Дас, владелец кинетоскопа на колесах, – сказал: “Слишком много пророчеств, ребята. Наш Рамрам этим проклятым вечером слишком много пророчествовал”.

Много лет спустя, преждевременно впад в слабоумие, когда призраки всех родов извергались из прошлого и плясали у нее перед глазами, моя мать вновь увидела парня с кинетоскопом, которого спасла, объявив благою весть о моем рождении, и который оплатил ей тем, что привел ее к слишком многим пророчествам, и заговорила с ним ровно, не тая злобы. “Значит, ты вернулся, – сказала она. – Ну, хорошо, тогда слушай: лучше бы я поняла тогда то, что имел в виду твой кузен – насчет крови, колен и носа. Потому что – кто знает? – может быть, у меня был бы другой сын”.

Как и мой дед в самом начале, в затянутом паутиной коридоре в доме слепца, а также и в самом конце, как и Мари Перейра, потерявшая своего Жозефа, как и я сам, моя мать всюду видела призраков.

...Но теперь, когда возникают все новые и новые вопросы, когда нужно разъяснять все новые двусмысленности, я просто обязан предать гласности свои подозрения. Подозрение – тоже многоголовое чудище, у него даже слишком много голов; почему же тогда я не могу удержаться, почему отстегиваю поводок и спускаю его на собственную мать?.. Как, я спрашиваю, можно описать живот провидца? И память, моя новая, всеведущая память, охватывающая львиную долю жизней матери-отца-деда-бабки и всех прочих, – подсказывает: мягкий, выпирающий, круглый, как кукурузный пудинг. И снова, внутренне сопротивляясь, спрашиваю я: как выглядят его губы? И неизбежный ответ: пухлые, вывороченные, поэтичные. И в третий раз вопрошаю я свою память: что там с его волосами? И слышу в ответ: редеющие, темные, прямые, падающие на уши. И теперь, весь во власти нелепых подозрений, задаю я последний вопрос... не могла ли Амина, на самом деле чистая, непорочная... из-за своей слабости к мужчинам, похожим на Надир Хана, не могла ли она... утратив на мгновение рассудок, тронутая жалким состоянием провидца, не решилась ли... “Нет! – слышится яростный крик Падмы. – Да как ты смеешь говорить подобные вещи? О такой прекрасной женщине – о собственной матери? Чтобы она могла? Ты ничегошеньки не знаешь и несешь такое?” И, конечно же, она, как всегда, права. Если бы она знала все, то, наверное, сказала бы, что я пытаюсь отомстить: ведь я действительно видел, что делала Амина за грязными стеклами кафе “Пионер”; и, может быть, тогда и родилось мое нелепое подозрение, и, презрев законы логики, отодвигалось во времени, пока не достигло, полностью созревшим, этого раннего – и почти наверняка невинного – приключения. Да, так оно, скорее всего, и есть. Но чудище не спешит уgomониться... “Ага, – говорит оно, – а как насчет сцены, которую она закатила Ахмеду, когда тот объявил, что они переезжают в Бомбей?” И теперь оно, это чудище, передразнивает мою мать: “Ты, всегда только ты решаешь. А я? Что, если я не хочу... только-только привела я этот дом в порядок, и вот!..” Так что, Падма, была ли то злость ревностной хозяйки – или маскарад?

Да, сомнение остается. Чудище спрашивает: “Почему же она так и не рассказала мужу об этом визите?” Ответ обвиняемой (его оглашает Падма от лица моей отсутствующей матери): “Да ты подумай только, как бы он разозлился, боже мой! Даже если бы и не был потрясен этой историей с поджигателями. Посторонний мужчина; жена, вышедшая из дому тайком, – да он бы просто взбесился! Совершенно взбесился бы!”

Недостойные подозрения... следует отринуть их, приберечь суровые речи на потом, когда исчезнет двусмысленность, поднимется завеса тумана, и Амина предоставит мне твердые, ясные, неопровержимые доказательства.

Но, конечно же, когда мой отец пришел домой поздно ночью, запах сточной канавы перебивал обычно исходящий от него душок будущего краха, из глаз катились слезы, оставляя на

щеках полосы пепла, ноздри его были забиты серой, а голова посыпана прахом развеявшихся дымом кож... ведь, конечно же, бандиты сожгли склад.

“А ночные сторожа?” – спали, Падма, спали. Предупрежденные заранее, приняли сонное питье так, на всякий случай... Отважные лала¹⁰⁵, воинственные патаны¹⁰⁶ – рожденные в городе, они никогда не видели Хайбера¹⁰⁷, и развернули пакетики, и высыпали порошок ржавого цвета в кипящий котелок с чаем. Раскладушки они оттащили подальше от отцовского склада, чтобы до них не долетели падающие балки и дождем рассыпающиеся искры. Потом улеглись на свои веревочные постели, выхлебали чай и погрузились в полное горечи и улады забвение, даруемое наркотиком. Сперва до хрипоты восхваляли излюбленных шлюх, оставленных в Пушту, затем стали дико хохотать, словно мягкие, легкие пальцы дурмана щекотали их... затем место смеха заняли сны, сторожа скитались по самым дальним ущельям дурмана, быстрее ветра неслись на скакунах дурмана и наконец уснули крепким сном без сновидений, и ничто на свете не могло пробудить их до того, как наркотик закончит свой путь по их телам.

Ахмед, Бутт и Кемаль приехали на такси – водитель, утративший остатки мужества при виде этих троих, набравших полные горсти скомканных банкнот, которые воняли как черт знает что, соприкоснувшись во рву со многими пренеприятными субстанциями, ни за что не стал бы их ждать, но они отказались платить. “Отпустите меня, важные господа, – канючил шофер. – Я человек маленький, не держите меня здесь...” – но они уже повернулись к бедняге спинами и припустили к пожарищу. Шофер смотрел, как они мчатся, вцепившись в рупии, изгвазданные в гнилых помидорах и собачьем дерьме; разинув рот, глазел он на горящий склад, на облака дыма в ночном небе и, как все участники этой сцены, вынужден был вдыхать воздух, полный запахов кож, спичечных коробков и паленого риса. Прикрыв глаза, подглядывая сквозь растопыренные пальцы, маленький шофер такси, у которого до таких дел нос не дорос, увидел, как г-н Кемаль, тощий и длинный, похожий на взбесившийся карандаш, лупил чем попало и пинал ногами объятые сном тела ночных сторожей – и едва не уехал в ужасе, бросив свою выручку, когда мой отец заорал: “Поберегись!”... и все же остался несмотря ни на что и увидел, как склад развалился на части, изъеденный липкими красными языками, увидел, как излился из склада поток невиданной лавы из спекшихся вместе риса, чечевицы, гороха, непромокаемых курток, спичечных коробков и солений, увидел, как жаркие, красные цветы пламени взметнулись к небесам, когда содержимое склада вытекло на твердую желтую почву и застыло черной, обугленной дланью отчаяния. Да, конечно же, склад был сожжен, он падал им на головы пеплом с небес, он набивался в разинутые рты покрытых синяками, но мирно храпящих сторожей. “Боже сохрани”, – пробормотал г-н Бутт, но Мустафа Кемаль, человек практичный, отозвался: “Слава богу, мы хорошо застрахованы”.

“Я был прав тогда, – позже твердил Ахмед Синай своей жене, – я был прав, когда решил бросить торговлю кожами. Продать контору, склад, забыть все, что я когда-либо знал об этом деле. Тогда же – ни раньше, ни позже – я окончательно выкинул из головы завиральный пакистанский проект Зульфи, муженька твоей Эмералд. В этом пламени, в этом пекле, – откровенничал мой отец, а жена его тем временем кипела от ярости, – я решил уехать в Бомбей и заняться недвижимостью. Недвижимость там дешевле грязи, – уверял он, пресекая вот-вот готовые слететь с ее губ возражения, – Нарликару лучше знать”.

(А со временем он назовет Нарликара предателем.)

В моей семье все идут туда, куда их толкают, – замораживание сорок восьмого года было единственным исключением из правила. Лодочник Таи вытеснил моего деда из Кашмира, мер-

¹⁰⁵ Лала – почтенный, господин; обычное обращение к “патанам” – афганцам.

¹⁰⁶ Патаны – индийское название пуштунов, ираноязычного народа, населяющего Афганистан и граничащие с ним северо-западные провинции Пакистана.

¹⁰⁷ Хайберский проход – перевал Сулеймановых гор, по которому проходит основная дорога, соединяющая Афганистан с Индостаном.

курохром изгнал его из Амритсара, крушение спокойной жизни под коврами привело к отъезду моей матери из Агры, а многоголовые чудища спровадили моего отца в Бомбей, чтобы я смог там родиться. К концу января моя история, движущаяся толчками, подошла наконец к тому моменту, когда мне почти пора появиться на свет. Есть тайны, которые так и не разъяснятся, пока я сам не выйду на сцену... например, тайна самого загадочного пророчества Шри Рамрама: “Будут нос и колени, колени и нос”.

Страховку выплатили, январь подходил к концу, и пока Ахмед Синай ликвидировал свое дело в столице и готовился к отъезду в город, где – доктору Нарликару, гинекологу, лучше знать – недвижимостью в тот момент стоила дешевле грязи, моя мать сосредоточенно, сегмент за сегментом, приучала себя любить мужа. Всем сердцем привязалась Амина к его ушам в форме вопросительного знака, к замечательно глубокому пупку, куда ее палец без малейшего усилия погружался до первого сустава; полюбила она и его узловатые колени; но, как бедняжка ни старалась (и, разрешая все сомнения в ее пользу, я все же не могу найти для этого подходящей причины), оставалась в супруге одна часть, которую она так и не исхитрилась полюбить, хотя эта штука, бывшая у него в полном порядке, у НаDIR Хана определенно бездействовала; в те ночи, когда муж взгромождался на нее – ребенок в ее животе был тогда не более лягушки, – ей это совсем не нравилось.

– Нет, не так быстро, джанум, жизнь моя, осторожней, пожалуйста, – просила она, и Ахмед, чтобы затянуть процесс, возвращается мыслями к пожару, к последнему, что случилось той огнедышащей ночью: в тот самый момент, как он собрался уходить, раздался с небес хриплый, зловещий крик, и он посмотрел вверх, и успел разглядеть, что стервятник – ночью! – да, стервятник с Башен безмолвия летит прямо над его головой; вот мрачная птица роняет расклеванную до кости руку парса, правую руку, и эта самая рука – р-раз! – хлещет его по лицу, падая на землю. Амина же, лежа под ним в постели, честит себя на все корки: “Ну почему ты не можешь получить удовольствие, глупая ты женщина, придется тебе как следует постараться”.

Четвертого июня мои родители, которых напрасно свела судьба, отправились в Бомбей на приграничном почтовом. (К ним в дверь ломались, отчаянно звенели голоса, кулаки стучали: “Махарадж! Открой, на одну минуточку! Оэ, пролей млеко и мед твоей милости, великий господин, сжался над нами!” А среди приданого в зеленом жестяном сундуке таилась за семью печатями украшенная лазуритом изящной чеканки серебряная плевательница.) В тот же самый день граф Маунтбеттен Бирманский объявил на пресс-конференции о разделе Индии и повесил на стену календарь, который отсчитывал время в обратную сторону: семьдесят дней до передачи власти... шестьдесят девять... шестьдесят восемь... тик-так.

Месволд

Сначала были рыбаки. До “тик-так” Маунтбеттена, до чудищ и публичных оглашений; когда подпольного брака никто еще не мог и вообразить себе и никто в глаза не видывал серебряной плевательницы; раньше, чем “меркурохром” задолго до того, как мускулистые тетki держали продырявленную простыню; в еще более древние времена, прежде Дальхаузи¹⁰⁸ и Эльфинстона¹⁰⁹; до того как Ост-Индская компания¹¹⁰ построила свой форт; до первого Уильяма Месволда¹¹¹; в начале времен, когда Бомбей представлял собой пустынный остров в форме гантели, за узкой частью которой можно было провидеть наилучшую, крупнейшую гавань в Азии – ведь Мазагун и Уорли, Матунга и Махим, Сальсетт и Колаба тоже острова – короче говоря, до мелиорации, до того как тетраподы¹¹² и затопленные сваи превратили Семь Островов в длинный полуостров, похожий на вытянутую, что-то хватающую руку, указующую на запад, на Аравийское море; в первозданном мире, где не водилось еще башенных часов, и рыбаки – их называли коли¹¹³ – выходили в море на арабских дау, одномачтовых судах, поднимавших красные паруса навстречу заходящему солнцу. Они ловили креветок и крабов и всех нас сделали любителями рыбы. (Или большинство из нас. Падма поддалась этим водяным чарам, но мои домоладцы, в чьих жилах текла чуждая кашмирская кровь, хранящая ледяную сдержанность кашмирских небес, все до одного предпочитали мясо.)

Были еще кокосы и рис. А надо всем этим – благотворное, охватывающее все стороны жизни влияние богини, чье имя – Мумбадеви, Мумбабай, Мумбай – возможно, дало название городу¹¹⁴. Однако португалцы называли это место Бом Баия из-за гавани, не из-за богини ловцов морских тварей... португалцы были первыми захватчиками, укрывавшими в гавани торговые суда и солдат, но в один прекрасный день 1633 года чиновнику Ост-Индской компании, которого звали Месволд, явилось видение. Видение это – мечта о британском Бомбее, укрепленном, охраняющем запад Индии от всех пришельцев, имело такую силу, что время пришло в движение. Колесо истории поворачивалось со скрипом; Месволд умер, а в 1660 году Карл II Английский женился на принцессе Екатерине из португальского дома Браганца¹¹⁵ – той самой Екатерине, которой всю жизнь пришлось играть вторую роль при торговке апельсинами Нелл¹¹⁶. Но утешением ей могло послужить то, что Бомбей как ее приданое попал в британские руки, возможно, положенный в зеленый жестяной сундук, – и мечта Месволда на шаг приблизилась к воплощению. Еще немного времени – и 21 сентября 1668 года компания наконец-то наложила лапы на остров... и вот португалцы ушли восвояси вместе со всеми своими пре-

¹⁰⁸ Дальхаузи (Джеймс-Эндрю Рамзай, лорд Дальхаузи) (1812–1880) – генерал-губернатор Индии в 1848–1856 гг.

¹⁰⁹ Имеется в виду скорее всего Джон Эльфинстон (1807–1860) – губернатор Бомбея в 1850-х гг., сумевший подавить на своей территории очаг восстания 1857 г., или Маунт-Стюарт Эльфинстон (1779–1859) – политический деятель и историк, губернатор Бомбея в 1819–1827 гг.

¹¹⁰ Ост-Индская компания (1600–1858) – компания английских купцов, получившая от британской короны монополию на торговлю с Индией, Цейлоном (Шри-Ланка) и странами Юго-Восточной Азии. Имела свою армию, собственный военный флот и особый административный аппарат для управления колониями. В 1858 г. после так называемого сипайского восстания была ликвидирована.

¹¹¹ Уильям Месволд (ум. 1653) – служащий Ост-Индской компании; много путешествовал по Индии, в 1622 г. издал книгу “Описание королевства Голконда и прочих соседних стран, примыкающих к Бенгальскому заливу”.

¹¹² Тетраподы – бетонные конструкции, применяемые для укрепления морского берега от размывания.

¹¹³ Коли – название касты рыбаков.

¹¹⁴ Мумбадеви – локальное божество, по имени которого, по-видимому, был назван город Бомбей (совр. Мумбаи).

¹¹⁵ Браганца – династия королей Португалии в 1640–1910 гг. С 1853 г. правила младшая линия династии – Браганца-Кобург.

¹¹⁶ Имеется в виду Нелл Гвинн – многолетняя фаворитка английского короля Карла II.

тензиями на форт и земли, и в мгновение ока здесь вырос город Бомбей, о котором пелось в старинной песенке:

Первая в Индии,
Звезда Востока,
На Запад глядящие
Врата в Индостан.

Наш Бомбей, Падма! Он был тогда другим; не было еще ночных клубов, и консервных фабрик, и отелей “Оберой-Шератон”, и киностудий, но и тогда он рос с головокружительной быстротой: возник собор и конная статуя Шиваджи, воинственного царя маратхов¹¹⁷; памятник этот (как все мы верили) оживал по ночам и пускался галопом по городским улицам, наводя ужас на жителей – скакал и скакал прямо по Приморскому бульвару! По песку Чаупати! Мимо высотных домов на Малабарском холме, заворачивая за угол Кемпа, мчался на бешеной скорости до самого Скандал-Пойнт! А потом, почему бы и нет, все дальше и дальше, по моей родной Уорден-роуд, вдоль бассейнов для белых и цветных на Брич-Кэнди, прямо к гигантскому храму Махалакшми и старому Уиллингдон-клубу... В годы моего детства, едва в Бомбее наступали скверные времена, как какой-нибудь страдающий бессонницей любитель ночных прогулок оповещал всех, будто видел своими глазами, как скакала статуя; несчастья входили в город моей юности, повинуюсь неслышному ритму серых копыт каменного коня.

Где они теперь, те первые жители? Кокосовые пальмы пережили их всех. На пляже в Чаупати до сих пор предлагают кокосы, срубая с них верхушку, а на пляже в Джуху, под томными взглядами кинозвезд, живущих в отеле “Сан-энд-Сэнд”, мальчишки до сих пор лазают на пальмы и срывают бородастые плоды. Рису не так повезло; поля риса теперь лежат под асфальтом; многоквартирные дома высятся там, где раньше в виду моря колыхались посевы. Но мы, горожане, остались великими поглотителями риса. Рис из Патны, Басмати, Кашмира ежедневно свозится в метрополию, а наш собственный местный рис наложил свой отпечаток на всех нас, так что не напрасно был он собран и обмолочен. Что же до Мумбадеви, то нынче она утратила популярность, народ стал более привержен к слоноголовому Ганеше. Календарь праздников свидетельствует о ее закате: у Ганеши – “Ган-пати-бабы” – есть свой день, Ганеша Чатуртхи¹¹⁸, когда колоссальные процессии собираются и движутся к Чаупати, неся изображения бога из папье-маше, которые затем сбрасывают в море. День Ганеши – праздник вызывания дождя, церемония эта притягивает муссоны, она происходила и в те дни, когда я еще не появился на свет с последним “тик-так” часов, включенных на обратный отсчет времени, – но где же день Мумбадеви? Его нет в календаре. Из всех первоначальных обитателей города коли, рыбаки, пострадали более всего. Оттесненные в крохотную деревушку на большом пальце похожего на ладонь полуострова, они, надо признать, дали название всему кварталу – Колаба. Но пройдите по дамбе Колаба до самого конца – мимо дешевых магазинов одежды, иранских ресторанов и второразрядных домов, где снимают квартиры учителя, журналисты и клерки, – и вы найдете их, притулившихся между военно-морской базой и морем. Иногда женщины-коли, чьи руки воняют креветками и крабами, нахально втискиваются в самое начало очереди на автобус в своих алых (или пурпурных) сари, бесстыдно подоткнутых между ног, и с болезненным блеском застарелых поражений и обид в рыбьих глазах навывкате. Форт, а потом город отобрал у них землю; копры (позже тетраподы) растащили по частям море. Но каждый вечер

¹¹⁷ Шиваджи (1627–1680) – основатель Маратхской империи, занимавшей в xvii – xviii вв. большую часть Декана. Знаменитый полководец, в течение десятилетий успешно воевавший с Моголами.

¹¹⁸ Праздник Ганеша Чатуртхи отмечается в четвертый день светлой половины месяца бхадра (соответствует августу-сентябрю).

арабские дау¹¹⁹ все еще поднимают свои паруса, стремясь к закату... В августе 1947 года британцы, не сумев удержать в руках эти рыбацкие сети, эти кокосы, рис и богиню Мумбадеви, сами готовились к отплытию; никакое владычество не длится вечно.

А 19 июня, через две недели после своего прибытия на приграничном почтовом, мои родители заключили весьма любопытную сделку с одним из таких отплывающих англичан. Звали его Уильям Месволд.

Дорога к имению Месволда (теперь мы входим в мое царство, проникаем в сердцевину моего детства, и горло у меня чуть-чуть опухает) ответвляется от Уорден-роуд; там, на углу, автобусная остановка и ряд небольших магазинчиков. Игрушечный магазин Чималкера, рай любителей книги, ювелирный магазин Чиманбхай Фатбхой, а прежде всего – кондитерская Бомбелли, с пирожным “маркиз”, с шоколадками-длиной-в-ярд! Названия эти много говорят воображению, но сейчас не время этим заниматься. За отдающим честь картонным рассыльным прачечной Бэнд-Бокс начинается дорога домой. В те дни никто не мог себе даже представить розового небоскреба женщин Нарликара (отвратительной копии Шринагарской радиовышки!), и дорога поднималась на невысокий холм, размером примерно с двухэтажное здание, вилась вокруг и выходила к морю, к Клубу пловцов Брич-Кэнди, где розовая публика могла плавать в бассейне, повторяющем очертания Британской Индии, не боясь соприкоснуться с темной кожей, и здесь, великолепно расположенные возле неширокого подъездного пути, высились дворцы Уильяма Месволда, а на них висели таблички, которые – благодаря мне – вновь появятся там многие годы спустя, таблички, где значилось одно слово, всего одно, и оно вовлекло моих ни о чем не подозревающих родителей в необычную игру, затеянную Месволдом; слово было такое: ПРОДАЕТСЯ.

Имение Месволда: четыре одинаковых дома, построенных в стиле, подходящем для исконных владельцев (дома завоевателей – жилища римлян; трехэтажные обиталища богов на двухэтажном Олимпе; чахлый, низкорослый Кайлас!) – просторные, прочные здания с красными островерхими крышами и башенками на углах, белыми, будто слоновая кость, в высоких, с узкими концами, шапочках из красной черепицы (в таких башенках заточали принцесс!), дома с верандами, с комнатами для прислуги, куда вели с черного хода чугунные винтовые лестницы, – и этим домам их владелец, Уильям Месволд, дал величавые имена европейских дворцов: вилла Версаль, вилла Букингем, вилла Эскориал и Сан-Суси. Все они были увиты бугенвиллеей, золотые рыбки плавали в бледно-голубых бассейнах; кактусы росли среди декоративных каменных горок; крохотные кустики-недотроги прятались за стволами тамариндов; всюду порхали бабочки, цвели розы; на лужайках были расставлены плетеные кресла. И в тот день в середине июня господин Месволд продал свои опустевшие дворцы за смехотворную цену – однако на определенных условиях. Итак, сейчас, без дальнейших предисловий, я представлю вам его, всего целиком, с прямым пробором в волосах... Титан ростом в шесть футов, этот Месволд, с лицом свежим, светлым, будто лепестки роз, и вечно юным. Мы еще поговорим о прямом проборе, ровном, словно выверенном по рейсшине, неотразимом для женщин, у которых возникало неудержимое желание нарушить его... Волосы Месволда, причесанные на прямой пробор, имеют непосредственное отношение к моему появлению на свет. Вокруг таких вот безукоризненных проборов и вращается история, к ним тянется противоположный пол. Пробор – как натянутый канат, по которому идешь высоко над землей. (Но, несмотря ни на что, даже я, ни разу не выдавший его, ни разу не бросивший взгляда на зубы, сверкающие в томной улыбке, или на сногшибательную, волосок к волоску причесанную шевелюру, – даже я, повторяю, не способен таить на него обиду.)

А его нос? Каким он был? Крупным, заметным? Должно быть, так, этот нос достался ему в наследство от благородной французской бабушки – из Бержераков! – чья кровь аквамарином

¹¹⁹ Дау – традиционные арабские деревянные лодки.

разливалась по его венам и оттеняла его светский шарм неким налетом жестокости, неким сладким убийственным ароматом полынной настойки.

Имение Месволда продавалось на двух условиях: дома должны были быть куплены целиком, со всеми предметами обстановки, и новые владельцы должны были сохранить все, вплоть до малейшей вещицы, и полностью вступить во владение можно было только после полуночи 15 августа.

– Все-все? – переспросила Амина. – Я и ложки не могу выбросить? О Аллах, этот абажур... Мне нельзя убрать отсюда даже расческу?

– Дом под ключ, со всей обстановкой, – проговорил Месволд. – Таковы мои условия. Прихоть, мистер Синай... вы позволите отбывающему колонизатору сыграть в эту маленькую игру? Что нам, британцам, еще остается делать, как не играть в наши игры?

– Нет, ты послушай, послушай, Амина, – позже убеждал ее Ахмед. – Разве ты хочешь всю жизнь прожить в гостинице? Цена фантастическая, совершенно фантастическая. И что он сможет поделаться потом, когда передаст права? Тогда ты и выкинешь любой абажур, какой тебе будет угодно. Осталось потерпеть каких-то два месяца, даже меньше...

– Вы станете пить коктейль в саду, – говорит Месволд. – В шесть часов каждый вечер. Время коктейля. За двадцать лет не нарушалось ни разу.

– Но, боже мой, эта краска... и комоды полны старого тряпья, джанум... нам придется жить на чемоданах, некуда повесить костюм!

– Скверно обстоят дела, мистер Синай, – сидя среди кактусов и роз, Месволд прихлебывает виски. – Никогда не видел ничего подобного. Сотни лет достойного правления – и так вот, вдруг: бросайте все и уезжайте. Признайтесь же, мы были не так уж плохи – построили вам дороги. Школы, поезда; ввели парламентскую систему – всё вещи очень полезные. Тадж-Махал разрушался на глазах, пока англичанин не взял его под защиту. А теперь нате вам: независимость. Через семьдесят дней извольте убираться вон. Я против, категорически против – но что тут поделаешь?

– Ты только взгляни, джанум: ковер весь в пятнах – и целых два месяца мы должны жить, как эти грязные британки? А в ванную ты заглядывал? Перед горшком не поставлена вода. Я никогда не верила, но это правда, боже мой, они подтирают зад одной только бумагой!..

– Скажите, мистер Месволд, – Ахмед говорил по-особому, в присутствии англичанина он растягивал слова, скверно подражая оксфордскому произношению, – скажите, зачем тянуть? Быстрее продать – больше получить, разве не так? Давайте ударим по рукам.

– И всюду-всюду английские старухи, баба?! Негде даже повесить фотографию отца!..

– Мне кажется, мистер Синай, – мистер Месволд вновь наполняет стаканы, а солнце ныряет в Аравийское море прямо за бассейном Брич-Кэнди, – что за чопорной английской внешностью нередко таится чисто индийская страсть к аллегории.

– И столько пить, джанум... это плохо, очень плохо.

– Я не совсем понял, мистер Месволд, гм... что вы имели в виду.

– Ах, видите ли, в некотором роде я тоже передаю власть. И мне страшно хочется сделать это одновременно с Британией. Я же говорю: игра. Исполните мою прихоть, а, Синай? Ведь цена-то недурна, признайтесь.

– Он что, спятил, а, джанум? Подумай, можно ли заключать с ним сделку, если он – помешанный?

– А теперь слушай меня, жена, – говорит Ахмед Синай, – эта история тянется слишком долго. Мистер Месволд прекрасный человек, воспитанный, честный; одно имя чего стоит... И потом: другие покупатели не поднимают столько шума, будь уверена... В любом случае я сказал ему “да”, так что на этом и покончим.

– Возьмите крекер, – говорит мистер Месволд, пододвигая блюдо. – Ну что ж, мистер Си, решайтесь. Да, странные творятся дела. Никогда не видел ничего подобного. Мои прежние

сьемщики, старожилы в Индии, уезжают – бросают все. Грустное зрелище. Больше не хотят от Индии ничего. В одночасье. Я человек простой, мне этого не понять. Они будто бы умывают руки – ни лоскутка не берут с собой. “Пусть пропадает”, – говорят. В Англии начнут все сначала. Деньжата у них водятся, у всех, сами понимаете, но все же как-то не по-людски. Меня оставили отдуваться. Тогда-то мне и пришла в голову эта мысль.

– Да-да, решай-решай, – взвизгивает Амина. – Я жду ребенка, у меня живот, как гора, – так что мне за дело? Мне жить в чужом доме и растить малыша, ну и что?.. Ах, чего ты только не выдумаешь мне назло...

– Да не реви ты, – говорит Ахмед, шлепая взад-вперед по гостиничному номеру. – Дом хороший. Сама знаешь, что хороший. А два месяца... даже меньше, чем два... что, толкается? Дай пощупать... Где? Здесь?

– Вот тут, – говорит Амина, шмыгая носом. – Здорово толкнул.

– А мысль моя состоит в том, – объясняет мистер Месволд, глядя на заходящее солнце, – чтобы разыграть передачу имущества, как некий спектакль. Просто так, абы кому оставить все, что вы видите? Нет, выбрать подходящих людей – таких, как вы, мистер Синай! – и передать им все абсолютно нетронутым, работающим, в полном порядке. Оглянитесь вокруг: все, что вы видите, в великолепном состоянии, не правда ли? Все тип-топ, как мы любили говорить. Или, как вы говорите на хиндустани: “Саб кучх тикток хай”¹²⁰. Все великолепно.

– Прекрасные люди покупают дома, – Ахмед подает Амине платок, – прекрасные новые соседи... вот господин Хоми Катрак в вилле Версаль, он – парс¹²¹, но у него конюшня скаковых лошадей. Фильмы делает и все такое. Еще Ибрахимы в Сан-Суси, у Нусси Ибрахим тоже будет ребенок, так что вы подружитесь... а у старика Ибрахима в Африке большие-пребольшие плантации сизаля¹²². Хорошая семья.

– Потом я смогу сделать с домом все, что мне захочется?..

– Да, конечно, потом, когда он уедет...

– Сработало великолепно, – говорит Уильям Месволд. – Знаете ли вы, что это моему предку пришлось в голову построить здесь город? Бомбейский Раффлз¹²³, так сказать. Я, его потомок, в этот важный переломный момент тоже, как мне кажется, должен сыграть свою роль. Да, великолепно... когда вы переезжаете? Одно ваше слово – и я удаляюсь в “Тадж-отель”. Завтра? Великолепно. Саб кучх тикток хай!

Вот люди, среди которых я провел мое детство: г-н Хоми Катрак, кинопродюсер и владелец скаковых лошадей, с дочерью-идиоткой Токси: ее держали взаперти, и за ней ухаживала нянька, Би-Аппа, самая страшная женщина, какую я когда-либо знал, и еще Ибрахимы из Сан-Суси: старик Ибрахим Ибрахим, с подагрой и плантациями сизаля; его сыновья Исмаил и Исхак, и крохотная, суетливая, невезучая жена Исмаила, Нусси, которую мы прозвали Нусси-Утенок за ее переваливающуюся походку; в животе у нее подрастал тогда мой дружок Сонни, подходя все ближе и ближе к злополучной встрече с акушерскими щипцами... Виллу Эскориал поделили на квартиры. На первом этаже жили Дубаши: он – физик, впоследствии светило на научно-исследовательской базе в Тромбее, она – тайна за семью печатями, в ней, с виду пустой и ничтожной, таился истовый религиозный фанатизм – но пусть пока таится; скажу только, что эти двое были родителями Сайруса (зачатого через несколько месяцев), моего первого наставника, игравшего женские роли в школьных спектаклях и носившего кличку Кир Великий¹²⁴. Над ними жил друг отца доктор Нарликар, тоже купивший здесь квартиру... был он такой же

¹²⁰ Саб кучх тикток хай! – Все тип-топ, в норме!

¹²¹ Парс – последователь Заратуштры, зороастриец.

¹²² Сизаль – так иногда называют агаву; чаще – волокно, получаемое из листьев агавы.

¹²³ Раффлз, сэр Томас Станфорд (1781–1826) – губернатор английских колоний в Индонезии и Малайзии. Основатель Сингапура.

¹²⁴ Кир Великий (550–530 до н. э.) – правитель из династии Ахеменидов, основатель древнеперсидского царства.

черный, как моя мать, имел способность как бы светиться изнутри, когда что-то волновало его или сердило, ненавидел детей, хотя и помог нам всем явиться в этот мир; смерть его выпустила на волю, на погибель городу целое племя женщин, способных на все, сметающих любую преграду со своего пути. И, наконец, на верхнем этаже жили капитан Сабармати и Ли́ла: капитан Сабармати, одна из самых горячих голов во флоте, и его жена с весьма дорогостоящими запросами; он был вне себя от счастья, что удалось так дешево купить ей жилье, он долго не верил в свою удачу. Их сыновьям было в то время одному полтора года, другому – четыре месяца, выросли они недалекими и шумными, прозывали их Одноглазый и Масляный, и они не знали (откуда же им знать?), что именно я сломаю им жизнь... Избранные Уильямом Месволдом, эти люди, которые составят впоследствии центр моего мира, переехали в имение, смирившись со странными прихотями англичанина: ведь цена-то и в самом деле была божеская.

...Осталось тридцать дней до передачи власти, и Ли́ла Сабармати висит на телефоне: “Как ты это терпишь, Нусси? В каждой комнате – по хохлатой птице, а в комодке я нашла съеденные молью платья и старые лифчики!” А Нусси делится с Аминой: “Золотые рыбки – о Аллах, терпеть не могу этих тварей, но Месволд-сахиб сам приходит кормить их... а еще там полно полупустых банок со средством Боврила, и он говорит, что нельзя выкидывать... это безумие, сестричка Амина, до чего мы дошли?”... А старый Ибрахим отказывается включать вентилятор на потолке у себя в спальне, бормочет: “Эта машина упадет, она отрежет мне голову когда-нибудь ночью; разве может такая тяжесть долго держаться на потолке?”... А Хоми Катрак, не чуждый аскетической практики, вынужден спать на широком мягком матрасе; он страдает от болей в спине и недосыпания; темные круги, бывшие от природы у него под глазами, от бессонницы превратились в настоящие завитки, и его посыльный говорит ему: “Не диво, что чужеземные сахибы все убрались восвояси, сахиб: они, верно, до смерти хотели выспаться”. Но все терпят до конца, к тому же есть и приятные стороны, не только проблемы. Послушайте Лилу Сабармати (“Уж слишком она красива, чтобы быть хорошей женой”, – твердит моя мать) ... “Пианола, сестричка Амина! И работает! Целый день я сажу-сажу, играю все подряд! ‘Белые руки любил я близ Шалимара’... такая прелесть, просто чудо, знай только нажимай на педали!”... Ахмед Синай обнаружил шкафчик со спиртным на вилле Букингем (до того как перейти к нам, то был собственный дом Месволда); он открывает для себя прелести настоящего шотландского виски, кричит: “Ну и что? Мистер Месволд немножечко чудной, только и всего – разве нам трудно ему подыграть? Разве мы с нашей древней цивилизацией не сумеем себя вести цивилизно?”... и осушает стакан одним глотком. Хорошие и плохие стороны: “Столько птиц, и за всеми присматривать, сестричка Нусси, – жалуется Ли́ла Сабармати. – Я терпеть не могу птиц, я их ненавижу. И моя маленькая киска, пусечка моя, так волнуется, так волнуется!”... И доктор Нарликар весь горит от обиды: “Над моей кроватью! Портреты детей, братец Синай! Говорю тебе: пухлые! Розовые! Три штуки! Где справедливость?”... Но до отъезда остается всего двадцать дней, вещи водворяются на место, острые углы сглаживаются; никто и не заметил, как это произошло: имение, имение Месволда, что-то меняет в своих жильцах. Каждый вечер ровно в шесть они пьют коктейль у себя в саду, а когда заходит Уильям Месволд, без всяких усилий по-оксфордски растягивают слова; они учатся включать вентилятор, пользоваться газовой плитой и кормить по часам хохлатых птиц, и Месволд, наблюдая за превращением своих жильцов, что-то бормочет себе под нос. Прислушайтесь как следует, что такое он говорит? Да, вот именно. “Саб кучх тикток хай”, – бормочет Уильям Месволд. Все идет отлично.

Когда бомбейская редакция “Таймс оф Индия”, желая подать близящийся праздник независимости под броским, вызывающим человеческий интерес углом, объявила, что та бомбейская женщина, которая ухитрится родить своего ребенка в самый миг рождения новой нации, получит приз, Амина Синай, которой только что приснился сон о липкой бумаге, не могла ото-

рваться от газеты. Эту газету она сунула под нос Ахмеду Синаю, торжествующе тыкая пальцем в нужное место, и в голосе ее звучала абсолютная уверенность.

– Видишь, джанум? – объявила Амина. – Это буду я.

И встали перед их глазами жирные заголовки: “Нам Позирует Малыш Синай – Дитя Славного Часа!”, явилось видение первоклассных глянцевого обложек с крупноформатными снимками младенца, но Ахмед вдруг засомневался: “Подумай, как трудно рассчитать время, бегам” – однако же она, поджимая губы, упрямо твердила свое: “Тут нечего и говорить – это точно буду я, мне все известно заранее. Не спрашивай откуда”.

И когда Ахмед поделился жениным пророчеством, сидя за коктейлем с Уильямом Месволдом, Амина осталась непоколебимой, хотя Месволд и поднял ее на смех: “Женская интуиция – прекрасная вещь, миссис Си! Но, если по-честному, вряд ли можно ожидать от нас...” Даже под злобным взглядом соседки, Нусси-Утенка, тоже беременной и тоже прочитавшей тот номер “Таймс оф Индия”, Амина не сдавала позиций, ибо предсказание Рамрама глубоко запечатлелось в ее сердце.

По правде говоря, чем дальше развивалась беременность, тем более тяжким грузом ложились слова прорицателя на ее плечи, свинцом заливали голову, отягощали выпирающий живот; так что, опутанная паутиной страхов, видящая уже воочию рождение ребенка с двумя головами, она оказалась неподвластна исподволь действующей магии имени Месволда; ее никак не затронули коктейли, хохлатые птицы, пианолы и английский акцент... Вначале Амина относилась неоднозначно к своей уверенности в том, что именно она выиграет приз “Таймса”, ибо была убеждена: если эта часть предсказания сбудется, все остальное наступит в свой черед, что бы оно там ни значило. Так что ни законной гордости, ни нетерпеливого ожидания предстоящей удачи не звучало в ее словах, когда моя мать сказала: “Какая там интуиция, мистер Месволд. Это абсолютно точно”.

А про себя добавила: “И вот еще что: у меня родится сын. И за ним придется хорошенько присматривать, иначе...”

Сдается мне, в самом сердце моей матери, может быть, даже глубже, чем она о том догадывалась, коренились суеверные представления Назим Азиз, и теперь они начали определять ее образ мыслей и поступки; мнения Достопочтенной Матушки о том, что аэропланы – измышление дьявола, фотоаппараты могут украсть у человека душу и существование призраков столь же достоверно, сколь и существование Рая, и великий грех сдавливать некое благословенное ухо между большим и указательным пальцами – ныне стали закрадываться в голову ее дочери-чернавки. “Хоть мы и сидим посреди всего этого английского хлама, – все чаще и чаще думала моя мать, – все же здесь Индия, и такие люди, как Рамрам Сетх, знают то, что знают”. Так скептицизм любимого отца сменился легковерием моей бабки, и в то же самое время искорка авантюризма, которую Амина унаследовала от доктора Азиза, мало-помалу затухала, придавленная иной, весьма весомой тяжестью.

К тому времени, как в июне начались дожди, зародыш уже полностью сформировался. Колени и нос уже обозначились, и столько голов, сколько могло там вырасти, заняли свое место. То, что было (в самом начале) не более точки, распространилось, выросло в запятую, слово, предложение, абзац, главу; теперь оно подвергалось более сложным превращениям, становилось, можно сказать, книгой, хоть бы и целой энциклопедией, даже и лексиконом живого языка... я хочу сказать: бугор в животе моей матери так возрос, так отяжелел, что, когда Уорден-роуд у подножья нашего двухэтажного холма вся потонула в грязно-желтой дождевой воде и стояли, ржавея, застрявшие автобусы, и детишки плескались в текущей бурным потоком дороге, и тяжелые, намокшие газетные листы плавали по ее поверхности, – Амина сидела в башенке на втором этаже, изнемогая под весом круглого, словно налитого свинцом, живота.

Дождь без конца. Вода затекает на подоконник, на цветных витражах танцуют тюльпаны, опривленные в свинец. Полотенца, подложенные под оконную раму, пропитываются водой,

тяжелеют, сочатся, текут ручьями. Море – серое, осевшее, расплющивается, тянется вдаль, смыкаясь на горизонте с грозowymi облаками. Барабанный бой дождя в ушах, вдобавок к смятению, вызванному словами провидца, и легковерием женщины, которой вот-вот настанет срок родить, и нагромождением чужих вещей, заставляет Амину воображать самое невероятное. Стиснутая растущим младенцем, Амина мнит себя преступницей, осужденной на казнь: во времена Моголов убийц раздавливали под большим валуном... впоследствии, вспоминая последние дни перед тем, как она стала матерью, дни, когда неумное “тик-так” и обратный отсчет дней в календарях гнал всех и вся к 15 августа, Амина говорила: “Я ничего об этом не знаю. Для меня время тогда совсем замерло. Ребенок у меня в животе остановил все часы. В этом я совершенно уверена. Не смейтесь, помните башенные часы на вершине холма? Говорю вам: после тех дождей они никогда не шли”.

...А Муса, старый слуга отца, приехавший с моими родителями в Бомбей, ходил и рассказывал другим слугам в кухнях крытых красной черепицей дворцов, в людских комнатах Версаля, Эскориала и Сан-Суси: “Ребенок будет первый сорт, что да, то уж да! Громадный, с доброго тунца, погодите, сами увидите!” Слуги радовались: рождение ребенка – доброе дело, а если малыш крупный, здоровый, то чего уж лучше...

...И Амина, чей плод остановил часы, сидела неподвижно в башенке и говорила мужу: “Положи сюда руку, пощупай... Здесь, чувствуешь?.. Такой большой, крепкий мальчишка, месяц наш ясный”.

А когда дожди кончились и Амина настолько отяжелела, что двое сильных слуг с трудом поднимали ее на ноги, Уи Уилли Уинки вновь пришел петть на круглую площадку между четырьмя домами, и только тогда Амина поняла, что у нее не одна, а две серьезные соперницы (по крайней мере, она знала об этих двух), тоже могущие претендовать на приз “Таймс оф Индия”, и что, как бы ни верила она в пророчество, на финишной прямой предстоит жестокая борьба.

– Уи Уилли Уинки меня зовут; ужин почую – и тут как тут!

Бывшие фокусники, бродяги с кинетоскопом на колесах, певцы... еще до моего рождения была отлита эта форма. Фигляры зададут тон всей моей жизни.

– Надеюсь, вам у-добно!.. Или вам съе-добно? Ах, шутка-шутка, леди и люди, дайте мне посмотреть, как вы смеетесь!

Высокий-смуглый-красивый клоун с аккордеоном стоял на круглой площадке. В садах у виллы Букингем большой палец на ноге моего отца прохаживался (вместе с девятью своими коллегами) рядом, под прямым пробором Уильяма Месволда...втиснутый в сандалию, похожий на луковицу, он знать не знал о надвигающейся беде. А Уи Уилли Уинки (его настоящего имени мы так никогда и не узнали) сыпал шуточками и пел. С веранды, расположенной на уровне второго этажа, Амина смотрела и слушала, а с соседней веранды ее сверлил ревнивый взгляд соперницы – Нусси-Утенка.

...А я, сидя за своим столом, чувствую, как сверлит меня нетерпение Падмы. (Иногда я тоскую по более разборчивой публике, которая поняла бы необходимость ритма, размеренности, незаметного, исподволь, введения партии струнных, которые затем поднимут голос, усилятся, подхватят мелодию; которая бы знала, например, что, хотя тяжесть и муссонные дожди заглушили часы на городской башне, ровный, пульсирующий “тик-так” Маунтбеттена остался, тихий, но неодолимый; еще немного – и он заполнит наш слух сухой дробью метронома или барабана.) Падма вот что говорит: “Знать ничего не хочу об этом Уинки; дни и ночи я жду и жду, а ты еще не добрался до собственного рождения!” Но я советую потерпеть, всему свое время; я увещаю мой навозом вскормленный лотос, ибо и Уинки явился с определенной целью и на своем месте; вот он дразнит беременных дам, что сидят на своих верандах, говорит им в перерывах между песенками: “Слыхали вы про приз, леди? Я тоже слыхал. Моей Ваните скоро подойдет срок, скоро-скоро; может, ее, а не ваше фото будет в газете!”...Амина

хмурится, а Месволд улыбается (напряженно, с чего бы?) под своим ровным пробором, а отец мой, человек рассудительный, с презрением выпячивает нижнюю губу, его большой палец совершает променад, а сам он замечает: “Этот нахал слишком далеко заходит”. Но в повадке Месволда заметны признаки смущения, даже вины! – и он выговаривает Ахмеду Синаю: “Глупости, старина. Древняя привилегия шутов, знаете ли. Им позволено издеваться и дразнить. Отдушина, так сказать, для накопившихся эмоций”. Отец мой пожимает плечами, хмыкает. Но он не дурак, этот Уинки, и теперь льет масло на оскорбление, сластит пилюлю, говоря: “Рождение – славная штука; два рождения – вдвойне славная! Двойня – славная! Шутка, леди, ясно вам?” И вот резко меняется настроение, появляется драматическая нотка, всепоглощающая, ключевая мысль: “Леди и люди, неужто ж вам удобно здесь, в самой середине долгого прошлого Месволда-сахиба? Оно вам, должно быть, чужое, ненастоящее, но теперь это место – новое, леди, люди. а новое место станет настоящим, когда увидит рождение. Родится первый ребенок, и оно, это место, станет для вас домом”. И он запел: “Дейзи, Дейзи...” Мистер Месволд подпел, но темная тень запятнала его чело...

... Вот в чем все дело: да, это сознание вины, ибо наш Уинки, конечно же, умница и острослов, но тут ему смекалки не хватило, и приходит время раскрыть первый секрет прямого пробора Уильяма Месволда, потому что этот пробор сместился и прядка волос затенила лоб: однажды, задолго до “тик-така” и продажи домов-со-всем-содержимым, мистер Месволд пригласил Уинки и его Ваниту, чтобы те спели лично для него в той зале, которая нынче служит моим родителям большой приемной; послушав немного, он сказал: “Эй, Уи Уилли, сделай мне одолжение, а? Нужно получить лекарство по этому рецепту, страшно болит голова, сбегай на Кемпов угол, возьми пилюли у аптекаря, слуги мои все слегли, простыли”. Уинки, человек подневольный, сказал: “Да, сахиб, мигом, сахиб”, – и ушел, Ванита осталась наедине с прямым пробором, и пальцы так и тянулись, неудержимо тянулись к нему, а Месволд сидел не шевелясь на плетеном стуле, и на нем был легкий кремовый костюм и роза в петлице, и вот Ванита подошла, вытянув пальцы, и коснулась волос, и нащупала пробор, и растрепала пряди.

Так что теперь, через девять месяцев, Уи Уилли Уинки отпускал шуточки насчет того, что жене скоро родить, а на челе англичанина появилась тень.

– Ну так что? – не унимается Падма. – Какое мне дело до этого Уинки и его жены, о которых ты ничего толком не рассказал?

Иным людям ничем не угодишь, но Падма скоро удовлетворит свое любопытство, очень скоро.

Но теперь она будет еще больше разочарована, потому что по длинной, вздымающейся в небо спирали я уношусь прочь от событий в имени Месволда – прочь от золотых рыбок, птиц, родильных гонок, прямых проборов, прочь от больших пальцев и черепичных крыш – лечу я через весь город, свежий, омытый дождями; оставив Ахмеда и Амину слушать песенки Уи Уилли Уинки, я направляю свой полет к району Старого форта, за фонтаном Флоры, и приближаюсь к просторному зданию, залитому тусклым, фланелевым светом, полному ароматов ладана, что поднимаются из колеблющихся курильниц... потому что здесь, в соборе Св. Фомы, мисс Мари Перейра в эту минуту узнает, какого цвета Бог.

– Голубого, – изрек молодой священник совершенно серьезно. – Все доступные нам сведения, дочь моя, указывают на то, что Господь наш Иисус Христос был прекраснейшего, кристально чистого небесно-голубого оттенка.

Маленькая женщина за деревянной решеткой исповедадьни на мгновение затихла. Напряженная тишина, скрывающая работу мысли. А потом: “Да как же так, отче? Люди не бывают голубыми. Нет голубых людей нигде во всем огромном мире!”

Изумление маленькой женщины, замешательство священника... потому что не так, вовсе не так она должна была реагировать. Епископ сказал: “С новообращенными бывают проблемы... когда они спрашивают насчет цвета, а они почти всегда это делают... важно навести

мосты, сын мой. Помни, – так вещал епископ, – Бог есть любовь, а индуистский бог любви, Кришна¹²⁵, всегда изображается с синей кожей. Говори им, что Бог – голубой, так ты перекинешь мост между двумя верами; действуй осторожно, ненавязчиво, к тому же голубой цвет – нейтральный, так ты уйдешь от обычной проблемы цвета, от черного и белого. Да, в общем и целом я уверен, что следует избрать именно такое решение”. И епископы могут ошибаться, думает молодой священник, однако же сам он попал в переделку, потому что маленькая женщина явно входит в раж и принимается сурово отчитывать его из-за деревянной решетки: “Голубой – да что это за ответ, отче, кто поверит в такое? Вам бы следовало написать Его Святейшеству Римскому Папе, уж он-то наставил бы вас на путь истинный, но не нужно быть Римским Папой, чтобы знать: голубых людей не бывает!” Молодой батюшка закрывает глаза, делает глубокий вдох, пытается защититься: “Люди красили кожу в голубой цвет, – запинаясь, бормочет он. – Пикты¹²⁶, кочевники-арабы; будь ты более образованна, дочь моя, ты бы знала...” Но за решеткой раздается громкое фырканье: “Что такое, отче? Вы сравниваете Господа нашего с дикарями из джунглей? О Боже, стыдно слушать такое!”...И она говорит и говорит, говорит еще и не такое, а молодой батюшка, у которого внутри все переворачивается, вдруг по внезапному наитию понимает: что-то очень важное кроется под этой голубизной, и задает единственный вопрос, и гневная тирада прерывается слезами, а молодой священник лепечет, охваченный паникой: “Ну же, ну же: ведь Божественный свет Господа нашего никак не связан с каким-то кожным пигментом?”...И голос едва пробивается сквозь потоки соленой влаги: “Да, отец мой, вы все же не такой уж плохой священник; я ему то же самое твержу, теми же словами, а он ругается и не желает слушать...” Вот и *он* вошел в нашу историю, и все проясняется, и мисс Мари Перейра, крохотная, целомудренная, смятенная, исповедуется в грехе, и исповедь эта дает ключ к мотивам того, что сделала она в ночь моего рождения, внося последний, наиболее важный вклад в новейшую историю Индии; с того времени, как мой дед стукнулся носом о кочку, и до времени моего возмужания такого вклада не вносил никто.

Вот она, исповедь Мари Перейры: как у всякой Марии, был у нее свой Иосиф. Жозеф Д’Коста, санитар в клинике на Педдер-роуд, а именно в родильном доме доктора Нарликара (“Ага!” – Падма наконец улавливает связь), где сама Мари служила акушеркой. Сначала все шло как нельзя лучше: он приглашал ее на чашечку чая, или ласси¹²⁷, или фалуды¹²⁸ и говорил нежные слова. Глаза у него были, как буровички, жесткие и сверлящие, зато речи – ласковые и красивые. Мари, крохотная, пухленькая, целомудренная, расцветала от его ухаживаний, но теперь все изменилось.

– Вдруг, вдруг ни с того ни с сего он стал все время принохиваться. Странно так, задирая нос. Я его спрашиваю: “Ты что, простыл, Джо?” А он говорит: нет; нет, говорит он, я принохиваюсь к северному ветру. А я ему говорю: Джо, в Бомбее ветер дует с моря, с запада дует ветер, Джо... Тонким, прерывающимся голосом описывает Мари Перейра, как разозлился на это Жозеф Д’Коста, как стал втолковывать ей: “Ты, Мари, ничего не знаешь, ветер нынче дует с севера и несет с собой смерть. Эта независимость – она только для богатых, а бедняков заставят давить друг друга, как мух. В Пенджабе, в Бенгалии. Мятежи, мятежи, бедняки на бедняков¹²⁹. Такое поветрие”.

¹²⁵ Кришна (“Черный”) – восьмая аватара Вишну; в земном облике – сын царя вришниева Васудевы, предводитель союза пастушеских племен, друг и советник братьев Пандавов в “Махабхарате”. В иконографических трактатах предписывается изображать Кришну с телом голубого цвета.

¹²⁶ Пикты – древние обитатели Британских островов.

¹²⁷ Ласси – прохладный напиток из молочной сыворотки.

¹²⁸ Фалуда – экзотический молочный напиток с добавлением сиропа из лепестков роз.

¹²⁹ Имеются в виду происходившие в это время (конец 1946 г. – начало 1947 г.) в Пенджабе и Бенгалии индо-мусульманские погромы.

И Мари ему: “Ты городишь чепуху, Джо, тебе-то что до этих скверных, паршивых дел? Разве мы не можем жить тихо-спокойно?”

“И не надейся: ничегошеньки ты не знаешь”.

“Но, Жозеф, даже если это и правда насчет резни, так то индусы и мусульмане; к чему добрым христианам встречать в эту распрю? Те ведь убивали друг друга с начала времен”.

“Опять ты со своим Христом. Как же ты не можешь взять в толк, что это – религия белых? Оставь белых богов белым людям. Умирают-то нынче наши. Нужно бороться, нужно показать народу общего врага, понятно?”

И Мари: “Вот почему я спросила насчет цвета, отче... и я говорила Жозефу, говорила и говорила, что драться нехорошо, оставь, мол, эти несуразные мысли, но он вообще перестал со мной разговаривать, начал общаться с опасными людьми; слухи поползли, отче, будто бы он бросает кирпичи в большие машины, да еще и бутылки с зажигательной смесью; он сошел с ума, отче; говорят, он помогает поджигать автобусы, взрывать трамваи и все такое. Что же делать, отче, я уж и сестре все рассказала. Моей сестре Алис, она хорошая девушка. Я сказала: ‘Джо ведь живет возле самой бойни, может, запах на него так влияет и путает мысли’. Тогда Алис пошла к нему: ‘Я с ним поговорю, – сказала, а потом: – О боже, что делается с нашим миром... я вам все начистоту, отче... о, баба...’” И слова потонули в потоках слез, и тайны просочились солеными струйками, потому что Алис, вернувшись, сказала, что, как ей кажется, Мари сама виновата: зачем было так донимать Жозефа речами, что он уж и видеть ее не может, вместо того чтобы поддержать его благородное, патриотическое начинание и вместе с ним пробуждать народ. Алис была моложе, чем Мари, и куда красивее, и вот все вокруг принялись сплетничать, склонять на все лады Алис-и-Жозефа, а Мари совсем потеряла терпение.

– Эта девица, – говорит Мари, – что она знает-понимает в политике? Вцепилась когтями в моего Жозефа и повторяет любую чушь, какую тот несет, точь-в-точь будто глупая птица майна¹³⁰. Клянусь, отче...

– Осторожней, дочь моя. Не поминай имя Господа всуе...

– Нет, отче, Богом клянусь, я все что угодно сделаю, чтобы вернуть своего парня. Да-да: несмотря на то, что... даже если он... ай-о-ай-ооо!

Соленая водица омывает подножие исповедальни... и не встает ли ныне новая дилемма перед молодым батюшкой? Несмотря на рези в желудке, не взвешивает ли он на незримых весах святость и нерушимость исповеди и опасность для цивилизованного общества таких людей, как Жозеф Д’Коста? В самом деле: спросит ли он у Мари адрес Жозефа, сообщит ли потом... Короче говоря, поведет ли себя этот скованный по рукам и ногам подчинением епископу, страдающий желудком молодой священник так же, как Монтгомери Клифт в “Исповедуюсь”, или по-иному? (Когда несколько лет назад я смотрел этот фильм в кинотеатре “Нью-Эмпайр”, мне не удалось прийти к определенному выводу.) Но нет, и опять, и в этом случае лучше подавить необоснованные подозрения. То, что случилось с Жозефом, скорее всего случилось бы с ним так или иначе. И, похоже, молодой священник имеет касательство к моей истории лишь потому, что первым из посторонних услышал, как яростно ненавидит богачей Жозеф Д’Коста и как неутешно горюет Мари Перейра.

Завтра я приму ванну и побреюсь, надену новехонькую курту¹³¹, белоснежную, накрахмаленную, и такие же шаровары. Я обую до зеркального блеска начищенные туфли с загнутыми носами и аккуратно причешусь (хотя и не на прямой пробор); зубы мои засияют... одним словом, я постараюсь выглядеть наилучшим образом. (“Слава тебе, Господи”, – выпячивает губы Падма).

¹³⁰ Майна – индийский скворец.

¹³¹ Курта – рубашка.

Завтра наконец-то иссякнут истории, которые я (не присутствовавший при их зарождении) вынужден был выживать из бурлящих образами укромных уголков моего мозга, потому что сухую дробь метронома, календарь Маунтбеттена с его обратным отсчетом времени уже нельзя не замечать. В имении Месволда есть своя бомба с часовым механизмом – это старый Муса, но его не слышно, потому что другой звук распространяется вширь, оглушительный, всепоглощающий. звук убегаящих мигнов, приближающих неотвратимую полночь.

“Тик-так”

У Падмы этот звук в ушах: что может быть лучше отсчета времени, чтобы возбудить интерес? Сегодня я наблюдал, как работал мой цветик навозный: как бешеная двигала она чаны, будто бы время от этого проходит быстрее. (А может, это так и есть: по моему опыту, оно, время, так же изменчиво и непостоянно, как подача электричества в Бомбее. Не верите – узнайте время по телефону; поскольку часы электрические, они врут безбожно. Или это мы врем... если для нас слово “вчера” означает то же, что и слово “завтра”, мы, следовательно, временем не владеем.)

Но сегодня у Падмы в ушах раздается тиканье часов Маунтбеттена... они сделаны в Англии и идут неукоснительно точно. А сейчас фабрика опустела; испарения остались, но чаны остановились, и я держу слово. Разодетый в пух и прах, я приветствую Падму, а та бросается прямо к моему столу, садится на пол передо мной, приказывает: “Начинай”. Я слегка улыбаюсь, довольный собой, ощущаю, как дети полуночи выстраиваются в очередь у меня в голове, толкаются, борются, будто рыбацки коли. я им велю подождать, теперь уже недолго, прочищаю горло, встряхиваю перо и начинаю.

За двадцать два года до передачи власти мой дед стукнулся носом о кашмирскую землю. Проступили рубины и бриллианты. Под кожей воды лед дождался своего часа. Был принесен обет: не кланяться ни Богу, ни человеку. Обет создал пустоту, которую на какое-то время заполнила женщина, скрытая за продырявленной простыней. Лодочник, однажды предрекший, что династии таятся в носу у моего деда, перевез его через озеро, кипия от возмущения. Там встретили его слепые помещики и мускулистые тетки. Простыня была натянута в полутемной комнате. В тот день и стало складываться мое наследство: голубое кашмирское небо, пролившееся в дедовы глаза; бесконечные страдания моей прабабки, определившие долготерпение моей матери и стальную хватку Назим Азиз; дар моего прадеда беседовать с птицами, который вольется прихотливым ритмом в вены моей сестры Медной Мартышки; разлад между дедовым скептицизмом и бабкиными суевериями, а в основе всего призрачная сущность продырявленной простыни, из-за которой моя мать вынуждена была прилежно трудиться, чтобы полюбить наконец мужчину всего, хотя бы и по кусочкам; ею же я был приговорен наблюдать собственную жизнь – ее смысл, ее строение тоже по клочкам и по фрагментам, а когда я это понял, было уже поздно.

Часы тикают, годы уходят – а мое наследство растет, ибо теперь у меня есть мифические золотые зубы лодочника Таи и его бутылка бренди, предрекшая алкогольных джиннов моего отца; есть у меня Ильзе Любин для самоубийства и маринованные змеи для мужской силы; есть у меня Таи-ратующий-за-неизменность против Адама-ратующего-за-прогресс; щекочет мне ноздри и запах немытого лодочника, прогнавший моих деда с бабкой на юг и сделавший возможным Бомбей.

...И теперь, подстрекаемый Падмой и неумолимым “тик-так”, я двигаюсь вперед, включая в повесть Махатму Ганди и его мирную забастовку, внедряя туда большой и указательный пальцы, заглатывая момент, когда Адам Азиз никак не мог понять, кашмирец он или индеец; теперь я пью меркурохром и оставляю всюду отпечатки рук, побывавших в пролитом бетелевом соке; я поглощаю целиком всего Дайера вместе с его усами; деда моего выручил нос, зато несводимый синяк появился у него на груди, так что и он, и я в неуголимой боли находим ответ на вопрос: индийцы мы или кашмирцы? Меченные синяком от застевки портфеля из Гейдельберга, мы разделяем с Индией ее судьбу, но в глазах остается чужеродная голубизна. Таи умирает, но чары его не рассеиваются, и все мы так и живем наособицу.

...Мчась вперед, я останавливаюсь, чтобы подобрать игру “плюнь-попади”. За пять лет до рождения нации наследство мое прирастает, включает в себя заразу оптимизма, которая

вспыхнет снова уже в мои времена, и трещины в земле, которые будут-были проявлены на моей коже, и бывшего фокусника Колибри, который начинает собой целый ряд бродячих артистов, что следовали один за другим параллельно моей судьбе, и бабкины бородавки, похожие на ведьмины соски, и ненависть, которую она испытывала к фотографам, и как его, и ее попытки взять деда измором, и упорное молчание, и здравый ум моей тетушки Али, обернувшийся одинокой женской судьбой, полной горечи, и прорвавшийся наконец беспощадной мстостью, и любовь Эмералд и Зульф리카ра, которая позволит мне начать революцию, и ножи-полумесяцы, роковые луны, что эхом отдадутся в ласковом прозвище, какое дала мне моя мать, ее наивном “чанд-ка-тукра”¹³², ясный... Теперь я прирастаю, плавая в лонных водах прошлого, питаюсь жужжанием, звучащим все выше-выше-выше, пока собаки не приходят на помощь, бегством на кукурузное поле, куда на выручку приходит Рашид, юный рикша, насмотревшийся приключений Гае-Вала, мчащийся на своем велосипеде – ВО ВЕСЬ ОПОР! – и заходящийся в беззвучном вопле; он же раскрыл секреты сделанного в Индии замка и завел Надир Хана в туалет, где стояла бельевая корзина; последняя делает меня тяжелее, я толстею от бельевых корзин, а потом от подковерной любви Мумтаз и безрифменного поэта, округляюсь еще, заглотив мечту Зульф리카ра о ванне у самой постели, и подпольный Тадж-Махал, и серебряную плевательницу, инкрустированную лазуритом, – брак распадается и вскармливает меня. Тетка-предательница бежит по улицам Агры, забыв свою честь, и это тоже меня вскармливает, и вот конец фальстартам, и Амина больше не Мумтаз, и Ахмед Синай сделался в каком-то смысле ей и отцом, и мужем... В мое наследство входит этот дар, дар заводить новых родителей, когда это необходимо. Умение порождать отцов и матерей: этого хотел Ахмед, но так никогда и не добился.

Через пуповину всасывал я в себя безбилетников, и веер из павлиньих перьев, купленный не в добрый час; прилежание Амины проникает в меня, а вместе с ним и другие зловещие знаки – перестук шагов, материнские просьбы денег, продолжающиеся до тех пор, пока салфетка на коленях моего отца не вздымается, подрагивая, маленьким шатром – и пепел дотла сожженных “Индийских велосипедов Арджуны”, и кинетоскоп, куда Лифафа Дас пытался вместить все что ни есть в мире, и упорные злодеяния шайки негодяев; многоголовые чудища ворочаются во мне – Раваны в жутких масках, щербатые восьмилетние девчонки с одной непрерывной бровью; толпы, вопящие: “Насильник”. Публичные оглашения питают меня, и я прорастаю в свое время, и остается всего семь месяцев до начала пути.

Сколько же вещей, людей, понятий приносим мы с собою в мир, сколько возможностей и ограничений! Потому что таковы родители ребенка, рожденного в эту полночь, и для всех детей полуночи дело обстояло так же. Среди родителей полуночи: крушение плана правительственной миссии, неколебимая решимость М. А. Джинны – умирая, он хотел при жизни увидеть созданный им Пакистан и был готов на все ради этого, – того самого Джинны, с которым мой отец, как всегда пропустивший нужный поворот, не пожелал встретиться, и Маунтбеттен, с его поразительной спешкой и женой-пожирательницей цыплячьих грудок, и еще, и еще, и еще – Красный форт и Старый форт, обезьяны и стервятники, роняющие руки, и белые трансвеститы, и костоправы, и дрессировщики мангустов, и Шри Рамрам Сетх, который предсказал слишком многое. И мечта моего отца упорядочить Коран находит свое место, и поджог склада, превративший его из торговца кожами во владельца недвижимости, и тот кусочек Ахмеда, который Амина не смогла полюбить. Чтобы понять одну только жизнь, вы должны поглотить весь мир. Я вам это уже говорил.

И рыбаки, и Катерина Браганца, и Мумбадеви-кокосы-рис; статуя Шиваджи и имение Месволда; бассейн в форме Британской Индии и двухэтажный холм; прямой пробор и нос от Бержераков; вставшие башенные часы и круглая площадка; страсть англичанина к индийским аллегориям и совращение жены аккордеониста. Хохлатые птицы, вентиляторы, “Таймс

¹³² Чанд-ка-тукра (*хинди*) – “кусочек луны”.

оф Индия” – все это часть багажа, который я прихватил с собой в этот мир... что ж удивительного, если я родился тяжелым? Голубой Иисус проник в меня, и отчаяние Мари, и революционное неистовство Жозефа, и вероломство Алис Перейры... из всего этого я сделан тоже.

Если я и кажусь немного странным, вспомните дикое изобилие моего наследства... может быть, если хочешь остаться личностью посреди кишаших толп, следует впасть в гротеск.

– Наконец-то, – замечает довольная Падма, – ты научился рассказывать по-настоящему быстро.

13 августа 1947 года: небеса неблагоприятны. Юпитер, Сатурн и Венера что-то не поделили, мало того, три раздраженных светила движутся в самый зловещий из всех домов. Бенаресские астрологи в страхе называют его: “Карамстан! Они входят в Карамстан!”¹³³

Пока астрологи суетливо оповещают боссов из Партии конгресса¹³⁴, моя мать после полудня прилегла вздремнуть. Пока граф Маунтбеттен сожалеет о том, что нет мастеров оккультных наук в его генеральном штабе, тени от лопастей вентилятора медленно вращаются, навевая на Амину сон. Пока М. А. Джинна, твердо зная, что его Пакистан родится через одиннадцать часов, на целые сутки раньше, чем независимая Индия, до появления которой остается тридцать шесть часов, поднимает на смех протесты ревнителей гороскопов, забавляется, качает головой, – голова Амины тоже мечется на подушках из стороны в сторону.

Но она спит. В эти дни тяжелой, как чан, беременности загадочный сон о липкой бумаге от мух измучил ее... Вот и сейчас, как и прежде, она бродит в хрустальной сфере, полной коричневых, вьющихся полос липучки; бумага липнет к одежде, разрывает ее в клочки, а Амина продирается сквозь бумажную чашу, бьется в тенетах, рвет бумагу, но та все липнет и липнет, и вот Амина нагая, и младенец толкается внутри, и длинные шупальца-липучки тянутся, хватают колышущийся живот, липнет бумага к волосам, ноздрям, зубам, соскам, ляжкам, и Амина в крике открывает рот, но коричневый липкий кляп падает на губы, наглухо склеивает их...

– Амина-бегам! – говорит Муса. – Проснитесь! Дурной сон, бегам-сахиб!

События этих последних часов – последние горькие капли моего наследства: за тридцать шесть часов до моего прихода матери снилось, будто она прилипла к коричневой бумаге-ловушке, точно муха. А во время коктейля (за тридцать часов до моего прихода) Уильям Месволд навестил моего отца в саду виллы Букингем. Прямой пробор шествует рядом, шествует над большим пальцем ноги, и мистер Месволд вспоминает. Байки о первом Месволде, чья мечта дала городу жизнь, звучат в вечернем воздухе, и догорает предпоследний закат. А мой отец, обезьянничая, по-оксфордски растягивая слова, страстно желая произвести впечатление на отбывающего англичанина, отвечает тем же: “На самом деле, старина, наш род тоже знатный, и даже очень”. Месволд слушает, склонив голову, уткнув красный нос в кремевой лацкан, скрывая прямой пробор под широкополой шляпой, тая под ресницами искорки веселья... Ахмеду Синаю виски развязало язык; преисполненный сознания собственной важности, он продолжает с еще большим пылом: “Кровь Моголов, по правде говоря”. А Месволд на то: “Да ну? Неужели? Вы меня разыгрываете”. И Ахмед, зная слишком далеко, уже вынужден стоять на своем: “По внебрачной, конечно, линии, но – Моголы, без сомнения”.

Вот так, за тридцать часов до моего рождения мой отец показал, что и ему нужны выдуманные предки... так он сочинил родословную, которая позже, когда пары виски отуманили память и джинн из бутылки совсем запутал его, полностью вытеснила реальные узы родства... так, чтобы его слова прозвучали убедительнее, он ввел в нашу жизнь фамильное проклятие.

¹³³ Карамстан (от *санскр.* карма-стхана) – в индийской астрологии неблагоприятное положение планет.

¹³⁴ Партия конгресса – Индийский национальный конгресс. Основанный в 1885 г., Национальный конгресс в описываемый период был признанным лидером освободительного движения, самой массовой партией, выступавшей за создание независимой Индии – светского демократического государства.

– Да-да, – уверял отец, а Месволд склонял голову набок, совершенно серьезный, не улыбаясь даже краешком губ, – многие старинные семьи имеют свое проклятие. В нашем роду оно передается по мужской линии, старшему сыну – в письменном виде, конечно, ибо произнести эти слова – значит высвободить всю их мощь, сами понимаете. А Месволд: “Как интересно! И вы помните свое проклятие?” Отец кивает, выпятив губы, торжествуя хлопая себя по лбу: “Все здесь, все, до единого звука. Заговор не использовался с тех пор, как один наш предок поссорился с императором Бабуrom¹³⁵ и проклял его сына Хумаюна¹³⁶... жуткая история, которую каждый ребенок знает”.

Придет время, когда мой отец, истерзанный, окончательно отступит перед реальностью, затворится в синей комнате и станет припоминать слова проклятия, которое он сам выдумал этим вечером подле своего дома, пока стоял рядом с потомком Уильяма Месволда и хлопал себя по лбу.

Теперь я нагружен снами о липкой бумаге и воображаемыми предками, и мне остаются до рождения еще целые сутки... но продолжается неумолимое “тик-так”: двадцать девять часов до прихода, двадцать восемь, двадцать семь...

Какие еще сны снились в эту последнюю ночь? Может быть, тогда – а почему бы и нет – доктору Нарликару, который не знал, какая драма вот-вот развернется в его родильном доме, впервые приснились тетраподы? Может быть, в эту последнюю ночь – пока Пакистан рождался на северо-западе от Бомбея – моему дяде Ханифу, который (как и его сестра) приехал в Бомбей и влюбился в актрису, божественную Пию (“Ее лицо – целое состояние”, – написали однажды в “Иллюстрейтед уикли”), впервые пригрезился замысел фильма, первого из трех его шедевров?.. Похоже на то: мифы, кошмары, фантазии носились в воздухе в ту ночь. Но вот что достоверно: в ту последнюю ночь мой дед Адам Азиз, теперь совсем один в старом большом доме на Корнуоллис-роуд, если не считать жены, чья сила воли, казалось, возрастала по мере того, как годы одолевали Азиза, да еще дочери Алии, которая так и замкнется в горьком своем девичестве, пока бомба не разорвет ее в клочки восемнадцать лет спустя, – почувствовал внезапно, как сдавили его железные крючья ностальгии, и лежал без сна, и острия буравили ему грудь; наконец, в пять утра 14 августа – девятнадцать часов до прихода – невидимая сила подняла его с кровати и повлекла к старому жестяному сундуку. Открыв сундук, он обнаружил старые немецкие журналы, работу Ленина “Что делать?”, свернутый молитвенный коврик и наконец то, что захотел увидеть вновь с такой неодолимой силой, – белое, сложенное, тускло мерцающее в свете зари. Дед вынул из жестяного сундука своей прошлой жизни запятнанную, прорванную простыню и обнаружил, что дыра выросла, что вокруг появились другие дырки, поменьше, и в припадке дикой ностальгической ярости растолкал изумленную жену и завопил благим матом, потрясая у нее перед носом ее собственной историей:

– Моль поела! Гляди, бегам, поела моль! Ты забыла положить нафталин!

Но отсчет времени продолжается... восемнадцать часов до прихода, семнадцать, шестнадцать... и вот уже в родильном доме доктора Нарликара слышны крики роженицы. Там сидит Уи Уилли Уинки, его жена Ванита восемь часов мучается и не может родить. Это началось как раз тогда, когда за сотни миль М. А. Джинна провозгласил полночное рождение нации мусульман... но она все еще корчится на постели в “благотворительной палате” родильного дома доктора Нарликара, предназначенной для бедняков... глаза ее вылезли из орбит, тело блестит от пота, но ребенок не желает выходить, да и отца его не видать; сейчас только восемь утра, но, судя по всему, младенец вполне может дожидаться полуночи.

Слухи по городу: “Статуя скакала прошлой ночью!” ... “И светила сулят беду!”... Но, несмотря на зловещие знаки, город держался и новый миф высверкивал в краешках его глаз.

¹³⁵ Захир ад-дин Мухаммад Бабур (1483–1530) – потомок Тимура и Чингисхана, основатель династии Великих Моголов.

¹³⁶ Хумаюн – могольский император, сын Бабура; правил в 1530–1539 и 1555–1556 гг.

Август в Бомбее – месяц праздников: день рождения Кришны и день кокоса, а в этом году – четырнадцать часов до прихода, тринадцать, двенадцать – в календаре появится еще один праздник, новое мифическое торжество, ибо нация, доселе не существовавшая, вот-вот завоеует себе свободу и выбросит всех нас, словно из катапульты, в созданный заново мир, который имел за плечами пять тысяч лет истории, придумал шахматы и торговал со Средним царством Египта¹³⁷, но все же был до сих пор миром воображаемым; в мифическую страну, которая ушла бы в небытие, если бы не феноменальные усилия коллективной воли – если бы не мечта, не сон, видеть который согласились мы все; массовая галлюцинация, одолевшая в той или иной мере бенгальцев и пенджабцев, мадрасцев¹³⁸ и джатов¹³⁹, которую время от времени приходится освящать и возобновлять кровавыми ритуалами. Индия, новый миф, коллективная фантазия, в пределах которой возможно все; сказка, сравниться с которой могут лишь два других мощных мифа: Деньги и Бог.

Одно время я был живым воплощением этой сказки, этой коллективной мечты, но теперь я хотел бы оставить макрокосм, уйти от общих понятий к более частному ритуалу. Я не стану описывать массовые кровопролития на границах разделенного Пенджаба (где расчлененные нации омывались в крови друг друга¹⁴⁰, а некий майор Зульфикар с лицом Пульчинеллы скупал имущество беженцев по абсурдно заниженным ценам, закладывая основы состояния, способного соперничать с богатством Низама из Хайдерабада¹⁴¹); я отвращу взор свой от вспышек насилия в Бенгалии и от долгого миротворческого похода Махатмы Ганди. Я эгоист? У меня узкие взгляды? Но это простиительно, как мне кажется. В конце концов, мы рождаемся не каждый день.

Двенадцать часов до прихода. Амина Синай, пробудившись от кошмара о липучках, не заснет больше до того, как... Рамрамом Сетхом полны ее мысли, ее несет по бурному морю, где волны восторга сменяются глубокими, темными, влажными пустотами страха, от которых кружится голова. Но срабатывает что-то еще: взгляните-ка на ее руки, как они, без участия разума, опускаются на живот, нажимают; взгляните на ее губы, которые шепчут без ее ведома: “Ну давай, выходи, копуша, смотри не опоздай для газет!”

Восемь часов до прихода... в четыре пополудни Месволд поднимается в гору, на двухэтажный холм, в своем черном “ровере” 1946 года. Паркуется на круглой площадке между четырьмя благородными виллами, но сегодня он не идет к пруду с золотыми рыбками, не навещает кактусовый сад, не приветствует Лилу Сабармати своим обычным: “Как пианола? Все в ажуре?”, не здоровается со старым Ибрахимом, который сидит в тени веранды в кресле-качалке и размышляет о сизале; не глядя ни на Катрака, ни на Синая, он встает в самом центре круга. Роза в петлице, кремовая шляпа прижата к груди, пробор сверкает в лучах послеполуденного солнца – Уильям Месволд смотрит прямо перед собой, и взгляд его скользит мимо башни с часами и Уорден-роуд, плывет над бассейном Брич-Кэнди в форме карты Британской Индии, пронизывает волны, золотящиеся в предвечернем свете, и шлет приветствие, а там, на горизонте, солнце начинает свое неспешное погружение в океан.

Шесть часов до прихода. Время коктейля. Те, кто пришел на смену Уильяму Месволду, сидят у себя в садах; только Амина хоронится в своей башне, избегая ревнивых, украдкой бро-

¹³⁷ Среднее царство Египта существовало с конца хх в. до начала хviii в. до н. э.

¹³⁸ “Мадрасец” – распространенное в Северной Индии уничижительное наименование всех без исключения выходцев с Юга.

¹³⁹ Джаты – общее наименование относящегося к земледельческим индусским кастам населения Восточного Пенджаба, Харианы и западных районов штата Уттар-Прадеш.

¹⁴⁰ Индо-мусульманские столкновения, вспыхнувшие 14 августа 1947 г. одновременно в Лахоре и Амритсаре, переросли в массовые грабежи, убийства и насилия. Число жертв измерялось миллионами.

¹⁴¹ Правители образовавшегося на земле Декана в 1720–1740-х гг. княжества Хайдарабад носили почетный титул Низам-уль Мульк, что можно перевести как “порядок в государстве”.

саемых взглядов соседки Нусси, которая, наверно, тоже торопит своего Сонни: скорей, скорей, вниз, вниз, между ног. Все с любопытством уставились на англичанина, а тот стоит неподвижный, застывший, прямой, словно рейсшина, с которой мы уже сравнивали его пробор, но тут всеобщим вниманием завладевает вновь явившееся лицо. Это высокий, жилистый человек, четки в три ряда обвивают его шею, пояс из куриных костей стягивает талию, темная кожа присыпана пеплом, длинные волосы распущены – голый, если не считать четок и пепла, садху¹⁴² пробирается между покрытых красной черепицей дворцов. Муса, старый посыльный, бросается к нему, хочет прогнать, но замирает, не решаясь приказывать святому человеку. Миновав обратившегося в столп Мусу, садху проникает в сад виллы Букингом, проходит мимо моего изумленного отца и садится, скрестив ноги, подле садового крана, откуда капает вода.

– Что тебе нужно здесь, садху джи? – вопрошает Муса с невольным почтением, а садху отвечает, спокойный, как горное озеро:

– Желаю дождаться прихода Единственного, Мубарака – Благословенного. Это произойдет очень скоро.

Хотите верьте, хотите нет: мое рождение предрекли дважды! И в этот день, когда все совершалось вовремя, чувство времени не подвело мою мать; едва последнее слово покинуло уста садху, как из башни на уровне второго этажа, из-за стекол, украшенных пляшущими тюльпанами, раздался пронзительный крик, содержащий, точно коктейль, равные части безумного страха, восторга и ликования... “Арре? Ахмед! – вопила Амина Синай. – Джанум, ребенок! Он идет, пора, пора!”

Словно электрический разряд прошел по имени Месволда... и вот прискакал тощий, с ввалившимися глазами Хоми Катрак и бодро заявил: “Мой ‘студебеккер’ в вашем распоряжении, Синай-сахиб, берите его, езжайте срочно!”... Остается еще пять с половиной часов, а Синай, муж и жена, уже спускаются с двухэтажного холма на чужом автомобиле; вот мой отец жмет на газ большим пальцем ноги; вот моя мать прижимает руками живот, полный, как луна; вот они скрылись из виду, свернули, покатали мимо прачечной “Бэнд-Бокс” и рая любителей книги, мимо ювелирного магазина Фатбхой и игрушек Чималкера, мимо шоколадок-длиною-в-ярд и ворот, ведущих на Брич-Кэнди, направляясь к родильному дому доктора Нарликара, где в благотворительной палате Ванита, жена Уи Уилли, все еще страждет и тужится, выпучив глаза, выгибая спину, а повитуха по имени Мари Перейра ждет своего часа... так что ни Ахмеда с его выпяченной губой, тыквоподобным животиком и вымышленными предками, ни темнокожей, опутанной пророчествами Амины не было на месте, когда солнце наконец село над имением Месволда, и в тот самый миг, когда оно исчезло совсем – пять часов две минуты до прихода, – Уильям Месволд поднял над головой длинную белую руку. Длинная рука нависла над напomaженными черными волосами, длинные белые пальцы сомкнулись над прямым пробором; второй и последний секрет раскрылся, ибо пальцы согнулись, вцепились в пряди и, оторвавшись от головы, не выпустили добычу, так что через минуту после захода солнца мистер Месволд стоял в закатном зареве посреди своего имения, держа в руке собственный волосяной покров.

– Лысенький! – вскрикивает Падма. – То-то ровные были у него волосы: так я и знала, в жизни этого не бывает!

Лысый-лысый, полированная башка! Раскрылся обман, на который купилась жена аккордеониста. Как у Самсона, сила Уильяма Месволда таилась в его волосах, а теперь, блестя лысым черепом в полумраке, он швыряет шевелюру в окошко автомобиля, раздает с видимой небрежностью подписанные акты на владение его дворцами и уезжает прочь. Никто из живущих в имени Месволда никогда больше не встречался с ним, но я, ни разу не видевший этого человека, забыть его не могу.

¹⁴² Садху – “святой”, странствующий аскет, подвижник.

И вот все стало вдруг шафрановым и зеленым. Амина Синай – в палате с шафрановыми стенами и зеленой деревянной мебелью. В соседней палате – Ванита, жена Уи Уилли Уинки, вся позеленевшая, с белками глаз, тронутыми шафраном: ребенок наконец начал свой спуск по внутренним трубам и проходам, которые, несомненно, тоже расцвечены зеленым и желтым. Шафрановые минуты и зеленые секунды истекают из стенных часов. За стенами родильного дома доктора Нарликара – фейерверки и толпы, тоже окрашенные в цвета ночи: шафрановые ракеты, зеленый искрящийся ливень, мужчины в желтых рубашках, женщины в лимонных сари. Стоя на шафраново-зеленом ковре, доктор Нарликар говорит с Ахмедом Синаем: “Я сам займусь вашей бегом, – говорит он ласково, вкрадчиво, в тональности этого вечера. – Не беспокойтесь ни о чем. Ждите тут, места много”. Доктор Нарликар не любит детей, но он опытный гинеколог. В свободное время он выступает, пишет памфлеты, поносит нацию – все по вопросу противозачаточных средств. “Контроль за рождаемостью, – говорит он, – это Задача Номер Один. Придет день, когда я вобью это в ваши тупые головы и тогда останусь без работы”. Ахмед Синай улыбается смущенно, нервно. “Хотя бы на эту ночь, – говорит он, – забудьте ваши идеи – примите моего ребенка”.

До полуночи двадцать девять минут. В родильном доме доктора Нарликара едва-едва хватает персонала; многие прогуливают – лучше праздновать рождение нации, чем возиться с рождением детей. В желтых рубашках и зеленых юбках они толпятся на ярко освещенных улицах, под бесчисленными балконами, на которых прозрачные светильники из тонкой глины наполнены неким таинственным маслом; в этих светильниках, окаймляющих каждый балкон, каждую крышу, плавают фитили, тоже двух цветов: половина ламп горит шафрановым светом, вторая половина полыхает зеленым.

Сквозь толпу, это многоголовое чудище, прокладывает себе путь полицейский автомобиль, и желто-голубые мундиры сидящих в нем людей в потустороннем свете ламп кажутся шафраново-зелеными. (Мы заскочили на дамбу Колаба всего на одну секундочку, только чтобы поведать, что за двадцать семь минут до полуночи полиция гонится за опасным преступником. Имя – Жозеф Д’Коста. Санитара в родильном доме нет и не было уже несколько дней, нет его ни в комнатухе около боен, ни в жизни обезумевшей от горя девственницы Мари.)

Двадцать минут проходит; а-а-а-а – кричит Амина Синай с каждой минутой все громче, все чаще; а-а-а-а – слабо, устало вторит ей Ванита из соседней палаты. Чудище на улицах уже празднует вовсю, новый миф струится по жилам, заменяя красные кровавые тельца шафраново-зелеными. А в Дели серьезный, натянутый, как струна, человек сидит в Зале собраний и готовится произнести речь¹⁴³. В имении Месволда золотые рыбки застыли в пруду, а жильцы ходят из дома в дом, угощают друг друга фисташковыми сладостями, обнимаются, целуются: сегодня все едят зеленые фисташки и шафрановые колобки-ладду. Два младенца движутся по тайным ходам, а в Агре стареющий доктор сидит рядом со своей женой, у которой на лице две бородавки, будто ведьмины сиськи; меж заснувших гусей и траченных молью воспоминаний на них накатило молчание, им никак не найти что сказать друг другу. И во всех городах, и местечках, и деревнях маленькие светильники горят на подоконниках, крылечках, верандах, а в Пенджабе в это время горят поезда; зеленым вспыхивает вздувающаяся краска, шафрановым полыхает горящий бензин, и это самые большие лампы в мире.

Город Лахор пылает тоже.

Натянутый как струна серьезный человек поднимается на ноги. Окропленный священной водой Танджора, он выпрямляется во весь рост; благословенным пеплом на лбу начертаны знаки; он прочищает горло. Нет в руках заранее приготовленной речи, нету в памяти заранее придуманных слов – Джавахарлал Неру начинает: “. . . Многие годы назад мы назначили встречу

¹⁴³ Имеется в виду Джавахарлал Неру (1889–1964), в тот период – премьер-министр Временного правительства Индии.

судьбе, и вот пришло время получить обещанное – не целиком и не в полной мере, но в достаточной степени...”

Без двух минут полночь. В родильном доме Нарликара темнокожий сияющий доктор, рядом с которым стоит акушерка по имени Флори, тоненькая, любезная девушка, не имеющая значения для нас, подбадривает Амину Синай: “Тужьтесь! Сильнее! Я вижу голову!...” – а в соседней палате некий доктор Боз вместе с мисс Мари Перейрой присутствуют при завершении длившихся полные сутки родов Ваниты... “Ну еще, в последний раз; давай же, давай – сейчас все кончится!” Женщины вопят и стонут, а мужчины в соседней комнате не произносят ни звука. Уи Уилли Уинки – не до песен ему сейчас – скорчился в углу и раскачивается взад и вперед, взад и вперед... Ахмед Синай оглядывается, ищет стул. Но стульев здесь нет, по этой комнате расхаживают, меряют ее шагами, так что Ахмед Синай открывает дверь, находит стул у пустого стола регистраторши, поднимает его, тащит в комнату для хождений, где Уи Уилли Уинки раскачивается и раскачивается без конца, и глаза его пусты, будто у слепого... выживет она? умрет?.. и вот наконец полночь.

Чудище на улицах взвыло, а в Дели натянутый, как струна, человек продолжает свою речь: “...С последним ударом полуночи, когда весь мир спит, Индия пробуждается к жизни и свободе... – Сквозь завывания стоглавого чудища слышатся два новых вопля, крика, рева: плач детишек, пришедших в мир, их тщетный протест, смешавшийся с грохотом независимости, что развесила шафран и зелень по ночным небесам. – Настала минута, редкая в истории, когда совершается шаг от старого к новому; когда душа целого народа, так долго угнетаемого, находит наконец выражение...” А в комнате, где пол застлан шафранно-зеленым ковром, Ахмед Синай стоит, держа на весу стул; в этот момент входит доктор Нарликар и сообщает ему: “С последним ударом полуночи, братец Синай, твоя бегам-сахибка родила крупного, здорового малыша, сына!” Тогда мой отец начинает думать обо мне (не зная...); образ мой заполняет все его мысли, и он забывает о стуле; охваченный любовью ко мне (даже несмотря на...), переполненный ею с головы до кончиков пальцев, он роняет стул.

Да, это моя вина (что бы ни говорили)... мое лицо, мое, и ничье другое, заставило Ахмеда Синаю разжать руки и выпустить стул; стул полетел вниз с ускорением двадцать два фута в секунду, и когда Джавахарлал Неру в Зале собраний сказал: “Ныне кончается пора невзгод”, и громкоговорители разнесли повсюду весть о свободе, мой отец тоже заорал, но не из-за свободы, из-за меня – стул упал ему на ногу и раздробил большой палец.

Вот мы и подобрались к самой сути: все сбежались на крик, мой отец и его увечье на короткое время отвлекли внимание от двух страдающих матерей и от двух детишек, синхронно родившихся в полночь, ибо Ванита в конце концов разрешилась мальчиком, замечательно крупным. “Вы не поверите, – говорил доктор Боз. – Он все шел и шел, конца ему не было видно, здоровый мальчишка, настоящий богатырь!” И Нарликар, умываясь: “Мой тоже”. Но это было чуть позже, а сейчас Нарликар и Боз заняты пальцем Ахмеда Синая; акушеркам велено обмыть и спеленать новорожденную пару, и тут-то мисс Мари Перейра и внесла свой вклад.

– Ступай, ступай, – говорит она бедняжке Флори, – посмотри, может, там надо помочь. Здесь я сама справлюсь.

И когда Мари осталась одна – двое младенцев на ее руках, две жизни в ее власти, – она это сделала ради Жозефа, свой маленький частный революционный акт. “За это он, конечно, меня полюбит” – так она думала, меняя ярлычки с именами на двух гигантских младенцах, даря бедному малышу жизнь-полную чашу и осуждая ребенка, рожденного от богатых, на аккордеон и нищету... “Полюби меня, Жозеф!” – одна только эта мысль сверлила мозг Мари Перейры, и дело было сделано.

На щиколотку богатыря с глазенками голубыми, как небо Кашмира – голубыми, как у Месволда, и носом, столь же выдающимся, как у кашмирского дедушки или у французской бабки, – она прикрепила ярлычок с именем: *Синай*.

В шафрановые пеленки завернули меня, поскольку благодаря преступлению Мари Перейры я был признан ребенком полуночи, чьи отец и мать ему не родные, чей сын – не его сын... Мари взяла дитя, рожденное моей матерью, того младенца, которому не суждено было стать ее сыном, второго здоровенького бутуза, но с глазками уже карими и коленками узловатыми, как у Ахмеда Синая, завернула его в зеленые пеленки и отнесла Уи Уилли Уинки, а тот глядел в пустоту, будто слепой, а тот вряд ли увидел новорожденного, а тот знать ничего не знал о прямых проборах... Уи Уилли Уинки только что сказали, что Ванита не пережила родов. Через три минуты после полуночи, пока доктора возились со сломанным пальцем, она истекла кровью и умерла.

А меня отнесли к моей матери, и та ни минуты не сомневалась в том, что я – ее сын. Ахмед Синай, с большим пальцем ноги в лубке, присел к ней на постель, и она сказала: “Глянька, джанум, у бедного мальчонки дедов нос”. Муж смотрел на нее в недоумении, пока она проверяла, нет ли у младенца второй головы, убедилась, что все в норме, и окончательно расслабилась, осознав, что не все предсказания сбываются.

– Джанум, – заволновалась тогда моя мать, – позвони в газеты. Позвони в “Таймс оф Индия”. Что я тебе говорила? Приз мой.

“Сейчас не время для мелочной и деструктивной критики, – вещал Джавахарлал Неру в Зале собраний. – Не время для злопыхательства. Мы должны построить благородное здание свободной Индии, в котором будут жить все ее дети”. Поднимается стяг – шафрановый, белый, зеленый.

– Так ты – англо? – ахает в ужасе Падма. – Что ты такое говоришь? Ты – англо-индиец? Твое имя не принадлежит тебе?

– Я – Салем Синай, – отвечаю. – Сопливец, Рябой, Сопелка, Лысый, Месяц Ясный. Как это – мое имя мне не принадлежит?

– Все это время, – сердито причитает Падма, – ты мне морочил голову. Твоя мать, ты говорил, твой отец, твой дед, твои тетки. Что ж ты за человек такой, если не можешь даже правду сказать о своих родителях? Тебе все равно, что твоя мать умерла родами? Что твой отец, может быть, еще живет, нищий, без гроша в кармане? Что ж ты за чудище такое?

Нет, я не чудище. И я никому не морочил голову. Я дал ключи к разгадке... но есть вещи более важные. Вот, например: когда по чистой случайности вышло наружу преступление Мари Перейры, все мы поняли, что это *все равно!* Я так и остался их сыном, а они – моими родителями. Нам всем не хватило воображения, мы решили, что не можем переделать прошлое... если спросить моего отца (даже его, несмотря на все, что случилось!), если спросить, кто его сын, ничто на свете не заставило бы его указать на немытого, с узловатыми коленками мальчишку аккордеониста. Хотя он, этот Шива, стал в конце концов чем-то вроде героя.

Итак, были колени и нос, нос и колени. На самом деле по всей новой Индии, о которой мы все мечтали, родились дети, бывшие лишь частично отпрысками своих родителей – дети полуночи были детьми *времени*, рожденными, как вы понимаете, самой историей. Такое бывает. Особенно в стране, которая сама – не более чем мечта или сон.

– Довольно, – дуется Падма. – Не хочу больше тебя слушать.

Не такого двухголового младенца ожидала она, и теперь ей обидно. Ну что ж, будет она слушать или нет, мне есть что порассказать.

Через три дня после моего рождения Мари Перейру замучили угрызения совести. Жозеф Д’Коста, скрываясь от полиции, бросил не только Мари, но и сестру ее Алис, и маленькая, пухленькая акушерка – боясь сознаться в своем преступлении – поняла, какую совершила глупость. “Ослица, несчастная ослица!” – корила она себя, но тайны не открывала. Однако решила хоть как-то горю помочь. Оставила работу в родильном доме и явилась к Амине Синай: “Госпожа, разок увидев вашего малыша, я прямо влюбилась в него. Не нужна ли вам няня?” И Амина, с материнской гордостью, блистающей во взоре: “Да, нужна”. Мари Перейра (“Ты

бы лучше *ее* называл своей матерью, – встречается Падма, тем самым доказывая, что ей все-таки интересно. – Это она тебя сделала, знаешь ли”) с этой самой минуты посвятила жизнь моему воспитанию, связав остаток дней своих с памятью о собственном бесчинстве.

20 августа Нусси Ибрахим последовала за моей матерью в клинику на Педдер-роуд, а малыш Сонни последовал за мной в мир, но он не хотел появляться, пришлось наложить щипцы; доктор Боз от волнения нажал слишком сильно, и Сонни родился с мелкими зубчиками на висках, небольшими вмятинками, которые делали его неотразимым, – так волосы Уильяма Месволда привлекали всех женщин. Девочки (Эви, Медная Мартышка, другие) протягивали руки и гладили эти маленькие впадинки... что привело впоследствии к некоторым осложнениям.

Но напоследок я приберег самое интересное. А именно: на следующий день после того, как я родился, нас с матерью в нашей шафранно-зеленой спальне посетили два корреспондента “Таймс оф Индия” (бомбейская редакция). Я лежал в зеленой колыбельке, в шафрановых пеленках, и таращил на них глаза. Репортер брал у матери интервью, а высокий с орлиным носом фотограф занимался исключительно мною. На следующий день и текст, и фотографии появились в газете...

Недавно я сходил в кактусовый садик, где много лет назад зарыл игрушечный жестяной глобус, расколотый, а потом склеенный скотчем, и вынул из него то, что вложил когда-то. Эти предметы я держу сейчас в левой руке, пока пишу правой, и могу разобрать сквозь желтизну и плесень, что одно из них – письмо, адресованное лично мне и подписанное премьер-министром, а второе – газетная вырезка.

Над ней заголовок: ДЕТИ ПОЛУНОЧИ.

И текст: “Очаровательный Малыш Салем Синай, который родился прошлой ночью в ту же минуту, что и независимость Нации, – счастливое Дитя этого славного Часа!”

И большая фотография: первоклассный широкоформатный гляцевый снимок, на котором еще можно разглядеть малыша: щеки усыпаны родинками, нос красный и течет. (Под снимком подпись: *фото Калидаса Гунты.*)

Несмотря на заголовок, текст и фотографию, я должен обвинить наших визитеров в том, что они все опошлили: простые журналисты, не видящие дальше завтрашнего номера, они и понятия не имели, какой важности событие довелось им освещать. На первом месте для них стоял человеческий интерес.

Откуда я это знаю? Да оттуда, что фотограф в конце интервью вручил моей матери чек на сто рупий.

Сто рупий! Можно ли представить себе более ничтожную, смехотворную сумму? Такой суммой иные могли бы и оскорбиться. Но я лишь поблагодарю газетчиков за то, что они отметили мое появление на свет, простив им отсутствие истинного исторического чутья.

– Ишь какой гордый, – ворчит Падма. – Сто рупий не так уж мало; в конце концов все люди рождаются на свет, ничего в этом нету такого важного-преважного.

Книга вторая

Указующий перст рыбака

Можно ли ревновать к писаному слову? Ненавидеть ночное карябанье, словно соперницу из плоти и крови? И все же я не могу найти иной причины, объясняющей странное поведение Падмы, и толкование мое хорошо тем, что оно столь же диковинно, сколь и ярость, в какую впала она сегодня ночью, когда я по неосторожности написал (и вслух прочел) слово, которого лучше было бы не произносить вовсе... Еще с визита доктора-шарлатана я чуял в Падме некое недовольство, вынюхивал его загадочные следы, исходящие из эндокринных (или эпокринных) желез. Обескураженная, может быть, безрезультатностью полночных поползновений на то, чтобы воскресить мой “другой карандаш”, бездарно свисающий огурец, спрятанный у меня в штанах, она постоянно ворчала. (А какой шум подняла она прошлой ночью, когда я открыл ей тайну моего рождения, как разозлилась на то, что сумма в сто рупий показалась мне никудышной!) Винить в этом нужно только меня: погруженный в собственное жизнеописание, я потерял из виду ее чувства и этой ночью начал с самой что ни на есть фальшивой ноты.

“И я приговорен продырявленной простыней жить по кусочкам, – написал я и прочел вслух, – но мне повезло больше, чем деду: Адам Азиз всю жизнь был жертвой простыни, я же сделался ее властелином – Падма, например, поддалась уже ее чарам. Сидя в колдовских потемках, я каждый день позволяю взглянуть на себя одним глазком, а она, пристроившись рядом на корточках и пожирая меня взглядом, всякий раз попадает в плен, беззащитная, словно мангуст, неподвижно застывший перед движущимися туда-сюда, немигающими глазами королевской кобры; парализованная – да! – любовью”.

Вот оно, это слово: любовь. Написанное-и-произнесенное, оно довело голосок моей дамы до немислимо визгливой ноты, а из уст ее потекли такие неистовые речи, что я бы обиделся, если бы мог еще обижаться на слова. “Любовью к тебе? – с издевкою возопила наша Падма. – Да за что любить-то тебя, Боже правый? Какой от тебя толк, барчук несчастный, – и тут она попыталась нанести мне последний, смертельный удар, – на что ты годишься как *любовник*?” Протянув руку, покрытую пушком, золотым в свете лампы, презрительно ткнула она указующим перстом по направлению к моим чреслам, от которых, надо признаться, и впрямь нет никакого проку; длинный, толстый палец, скованный ревностью – к несчастью, он всего лишь напоминает мне о другом, давно потерянном пальце... и она, Падма, видя, что стрела не попала в цель, заорала: “Придурок несчастный! Прав был доктор, прав!” – и в смятении выбежала вон из комнаты. Шаги ее прогрохотали по железным ступенькам лестницы, ведущей в цех, прошелестели между укрытыми темнотою чанами для маринада, потом звякнула задвижка и хлопнула входная дверь.

А я, покинутый ею, вернулся к работе: ничего другого мне не оставалось.

Указующий перст рыбака: незабвенный фокус, композиционный центр картины, что висела на небесно-голубой стене спальни на вилле Букингом, прямо над небесно-голубой кроваткой, в которой я, Малыш Салем, дитя полуночи, провел свои первые дни. Юный Рэйли и кто-то еще сидел в тиковой рамке у ног старого, согбенного, починяющего сети рыбака (были ли у него усищи, будто у моржа?), чья правая рука, вытянутая во всю длину, указывала на водную гладь, простирающуюся до самого горизонта, а байки его, тоже полные просоленной влаги, струились сквозь зачарованный слух Рэйли и кого-то еще, потому что там, на картине, я уверен, был еще один мальчик: он сидел, скрестив ноги, в кружевной рубашке и расстегнутом кафтанчике... И вот воспоминания возвращаются ко мне: праздник, день рождения, когда гордая матушка и не менее гордая нянюшка нарядили малыша с носом огромным, будто у вели-

кана Гаргантюа, в точно такую рубашечку, точно такой кафтанчик. Портной сидел в небесно-голубой комнатке, под указующим перстом, и срисовывал одеяния английских милордов... “Гляньте, какая прелесть! – воскликнула Ли́ла Сабармати к вящему моему стыду. – Он будто сошел с *этой картины!*”

На картине, что висела в спальне, я сидел подле Уолтера Рэйли и провожал взглядом указующий перст рыбака, взглядом, впивающимся в горизонт, за которым скрывалось – что? – возможно, мое будущее, мое роковое предназначение, которое я ощущал с самых первых дней как нечто серое, мерцающее в той небесно-голубой спальне, вначале почти неразличимое, но неизбежное... ибо перст указывал дальше, за мерцающий горизонт, он указывал за пределы тиковой рамы, через небольшое пространство небесно-голубой стены он вел мой взгляд к другой раме. В ней и заключалась моя неизбежная судьба, навеки припечатанная стеклом: там висел широкоформатный детский снимок под пророческим заголовком; там же, рядышком, висело письмо на первосортной веленовой бумаге, скрепленное государственной печатью, – львы Сарнатха высились над дхарма-чакрой¹⁴⁴

¹⁴⁴ Гербом независимой Индии стало изображение так называемой “львиной капители” – капители, венчающей колонну, возведенную императором Ашокой в 242–232 гг. до н. э. в Сарнатхе, на месте первой проповеди Будды.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.